

CHANTEUR -П Е В Е Ц-

Повесть

Небольшое вступление от автора.

Год назад я разобрался в подвале моего дома в Гамбурге: нужно было выбросить кое-какой мусор, в том числе старые, никому не нужные, пожелтевшие от времени газеты, которые я храню, неизвестно зачем. Совершенно случайно на глаза мне попала маленькая заметка полицейской хроники середины 80-х годов. Это была вырезка из газеты "Пари-Суар". Когда-то давно, во время своих скитаний, я привёз эту заметку из Франции — сначала в Россию; затем вместе с пожитками она "переехала" со мной в Польшу; а затем пожелтевшие листки бумаги осели в подвале моего гамбургского дома. Эта заметка чем-то околдовала меня... В ней значилось:

...Ночь с пятницы 13 на субботу 14 сентября оказалась всё же фатальной. В известном в Париже ресторане "....." прозвучало несколько выстрелов. Убиты и Полиция пока ещё не вышла на следы совершивших преступление. Следствие продолжается...

Я нарочно оставил пробелы в названиях и именах, дабы не разрушить для вас детективной линии сюжета. Как говорят во Франции, самое большое разочарование — это когда на третьей странице детектива, на полях, карандашом, написано имя убийцы.

Так или иначе, с этой маленькой газетной вырезки, которую, сдув с неё пыль и разгладив ладонью, я принёс к себе в кабинет, а точнее сказать, с мысли о фатальности пятницы 13-го числа, и началась эта повесть.

ЧАСТЬ 1

Сесиль Ривгош, когда она была еще маленькой девочкой.

2 августа 1942 года

Воскресенье

У истоков любой интриги
ищите женщину (Бальзак, Оноре дэ).

Южное побережье Франции. Жаркий летний день второго августа 1942 года. Солнце, стоящее почти в самом зените, раскаляет крыши домов, нагревает тротуар так, что по нему почти невозможно бежать босиком. Но здесь, под самым церковным куполом, прохладно и торжественно.

Маленькая девочка стоит на невысокой длинной скамье. Вокруг неё — такие же, как и она, мальчики и девочки. Девочка взирает отсюда, с церковных хоров, на длинный, ведущий в белый свет проход и на узкую вереницу конфирмантов — мальчиков и девочек, которые уже стали

взрослыми, которым теперь не нужно отчитываться перед мамой, потому что они больше не дети, и можно теперь будет бегать на танцы и возвращаться домой аж к десяти вечера. Маленькая девочка взирает на них со светлой завистью, совсем забыв про воскресный Псалом номер XVII. А мальчики и девочки вокруг неё старательно выводят: „Fortuna Imperatrix Mundi...“.

А вот та же маленькая девочка, опустив голову и печально взирая на доски пола из крашеного мареной дерева, стоит в кабинете Сестры Настоятельницы. «Ты совсем забыла петь, — отчитывает её Сестра, — в каких облаках ты опять летала, Сесилль?!!»

Уже к вечеру, дома, маленькая Сесилль стоит, всё так же склонив печально голову, и разглядывает на этот раз коричневые плитки, которыми выложен пол в гостиной. «Сестра Констанс жаловалась на тебя, Сесилль, всю службу ты простояла, не раскрыв рта. Ты не помнишь слов псалма или? Вновь витаешь в своих облаках?!!». Это голос её отца. Несмотря на мягкий тон, отец зол не на шутку. Она чувствует это — ей даже не нужно поднимать голову, чтобы увидеть слегка покрасневшее осунувшееся его лицо...

Летний полдень следующего дня. Бóши разгуливают по улицам Лека, словно это их посёлок; но, говорят, это хорошо: пока фрицы здесь, Лек бомбить не станут. Маленькая Сесилль бежит вниз по узенькой, мощёной серым камнем улочке. На перекрёстке она сворачивает во внутренние дворы, затем — мимо грядок с капустой и горохом — к оврагу, за которым плещется море. Море можно видеть с высоченного обрыва. Поляна перед обрывом поросла густой травой, которая доходит Сесилль до пояса. Там, далеко-далеко — горизонт, за которым другие земли. Какие — Сесилль не знает. Зато она знает куда бóльшую тайну! Она знает, как по маленькой тропинке, осыпающейся горячим песком и заросшей диким виноградом и плющом, спуститься к самому морю. Тропинка ведёт в небольшой песчаный грот. Прямо у ног там плещутся ласковые, светлые и добрые волны; а над головой — та самая поляна с высоченным обрывом, на краю которого она сейчас стоит, всматриваясь в бесконечную водную гладь.

Оглянувшись вокруг, Сесилль набирает в лёгкие воздуха и сбегает вниз по этой тропинке — осторожно, чтобы не пораниться о сухие ветви, и при этом стремительно — так, что захватывает дух.

Теперь она одна. Она отрезана от всего остального мира — только сверкающее море перед глазами, чайки, мечущиеся над волнами, и обрыв над головой. Это её мир. Здесь никто не скажет: «Нехорошо, Сесилль... ты не пела со всеми вместе... Ты нехорошая девочка, Сесилль. Ты вновь витаешь в своих...».

Шум моря усыпляет, и Сесилль сама не замечает, как глаза её застилаются лёгкой дымкой, рот слегка приоткрывается... Она опускается на горячий песок и... улетает в облака.

...Просыпается она от голосов. Это взрослые мальчики и девочки, а может быть, женщины и мужчины. Они там, наверху, у неё над головой, на той самой поляне, поросшей травой, с которой она по тайной тропинке сбегала сюда, к морю. Голосов почти не слышно — всё уходит в пространство... А ей так хочется услышать, узнать — кто пришёл туда, на поляну?.. Конечно же, местные! А может быть, боши с девицами?! От этой мысли по спине Сесилль пробегает холодная волна, и она крепче вжимается в песчаную стену грота, освещённого косыми лучами солнца.

И вот эти самые оранжевые лучи возвращают её в реальность. Мадонна! Она даже и не заметила, как промечтала здесь почти до вечера! Ей непременно нужно выйти из грота, подняться по потаённой тропинке и бежать домой, пока отец не начал волноваться, а ещё хуже — пока домашние

не подняли тревогу... Но она продолжает прижиматься спиной к сухому песчанику и только слышит голоса там, наверху... отдалённые звуки голосов... она даже не понимает, кто и на каком языке говорит, но она знает наверное: там, наверху, на поляне по-над обрывом собралась весёлая компания! Они пьют сладкий мускат, какой ей давали попробовать на прошлое Рождество, рассказывают друг другу всякие истории, подначивают друг друга... Она никак не может сейчас там появиться, Сесиль... Что скажут, о чём подумают те, там наверху, когда, выйдя в такой поздний час из густого кустарника, перед ними предстанет совсем ещё маленькая девочка?.. Что потом будут говорить по посёлку?..

И она ждёт, ждёт. Она устала стоять, прижимаясь спиной к уже остывшему песчанику. Ноги как-то сами собой подкосились, и теперь она сидит на земле, наблюдая, как волны в двух шагах от нее вылизывают пологий склон. Сесиль ждёт, когда компания там, наверху, на поляне, разойдётся по домам. Море плещется теперь уже у самых её ног — настало время прилива, — и она поджимает ноги, а волны, которые теперь кажутся совсем не светлыми и добрыми, а жестокими и жадными, подбираются всё ближе и ближе, так что вскоре ей придется подняться, чтобы не замочить своё платье.

Проходит час, два... Сесиль теряет счёт времени... огромный рыжий шар солнца уже касается своим краем кромки воды на горизонте, и вода словно плавится, раскаляясь докрасна и расступаясь, давая огромному солнечному шару прорвать морскую гладь и окунуться в бездонную пучину. На уроке физики они учили закон о вытеснении жидкости, открытый каким-то греком, и Сесиль знает: чем глубже опускается в море солнечный шар, тем выше поднимается вода. Теперь она стоит по колено в море, а за спиной у неё — грот, который тоже скоро затопит. А по тропинке вверх она не пойдёт.

Там, на поляне, и не думают прекращать веселье. Стоя по колено в воде, Сесиль слышит звучание аккордеона и чьё-то пение... Пение прекрасное, но ей холодно, страшно... и ещё она понимает, что ей придётся утонуть. Так уж написано, видно, на её судьбе. Теперь, в мокром платье, с растрёпанными волосами и с лицом, перемазанным песком, она уж точно ни за что на свете не поднимется на поляну. Покойная матушка часто твердила: «Лучше смерть, чем позор». Тогда этих слов Сесиль не понимала. Теперь понимание пришло сполна: если днём она ещё могла, выбравшись из кустарника, пожелать всем приятного времени и отправиться восвояси, то теперь... Что скажут теперь про маленькую девочку, что вылезла, словно ведьма, мокрая и грязная из тёмного кустарника на поляну, где пьют вино, целуются и обнимаются взрослые?! Теперь, когда смолкло оглушительное пение птиц, и цикады, утомлённые жарой, не так громко стрекочут, она слышит голоса этих взрослых. Эти голоса изменились. Теперь парни не выкрикивают задорных тостов в промежутке между глотками вина, а девушки не хохочут так звонко им в ответ. Все они утомлены и настроены на мечты. «Люблю, — слышит Сесиль чей-то жаркий шепот. — Навеки твой... Я буду ждать...»

Нет, она не сможет туда подняться... «Подглядывала!» — скажут парни. «Подслушивала» — скажут девушки. «Мерзкая девчонка! Она не поёт в хоре, она не выучила слов молитвы, она...» Лучше смерть, чем позор.

И вот над поверхностью воды видны теперь только её воздетые к Небесам тонкие бледные руки и лицо, устремлённое к заходящему солнцу.

Словно в каком-то оцепенении, Сесиль разжимает высохшие от жажды губы и тихо-тихо поёт: „Gloria Primo Vere... Fortuna Imperatrix Mundi...“ А затем тихо, вновь очень тихо, с горькими слезами, которые мешают ей видеть и дышать, склонив голову долу: «Я знаю, я знаю этот псалом... Мать Небесная! Прости меня, пожалуйста! Отпусти меня отсюда! Мамочка! Папа!!!»

Слова эти переходят в отчаянные горькие рыдания, и маленькая Сесиль больше не слышит, как стихает вдруг пение на поляне, как трещат ветви кустарника... и не чувствует она, заливаясь горькими слезами обиды и отчаяния, как чьи-то сильные руки поднимают её над водой, почти дошедшей ей до горла... На одну секунду лучик солнца озаряет её рыжие кудри, и потом всё погружается в темноту...

**Сесиль, 43 года спустя
11 сентября 1985 года.
Среда.**

Она будет стоять перед ним, как школьница. Вот первая мысль, которая пришла ей в голову в тот момент, когда она переступила порог этого роскошного, в величественном стиле „Ампир“, особняка на улице Ваузи. Она всю жизнь пыталась вырвать из себя этот страх, это стеснение, поселившиеся в ней с самого детства, с того самого случая, когда она ещё жила с отцом в Леке и однажды чуть не утонула в гроте во время прилива. Всю свою сознательную жизнь она училась стоять перед людьми с гордо поднятой головой, и этот рубин с диадемой — смешно кому-то покажется — она купила именно для того, чтобы не склонять ни перед кем головы. Пусть кому-то её облик покажется смешным, сама она, Сесиль Ривгош, чувствовала себя в этой диадеме, придерживающей распущенные, густые и кудрявые волосы, ну, если не королевой, то Женщиной. Женщиной с большой буквы.

...И вот теперь она вновь стоит перед ним, как школьница. От этого русского они никогда не избавятся. Во-первых, потому, что он достаточно молод — пятьдесят шесть при теперешнем развитии медицины — не возраст; а во-вторых, потому, что у него есть хватка. А что такое хватка, она представляла теперь в полной мере. Дабы не пускаться в долгие философские объяснения, хватка — это когда все стоят перед тобой, как школьники перед учителем. Они все стояли перед ним, как школьники. Все, кому принадлежали здесь, в Париже, рестораны «А ля Рюсс», стояли как школьники перед тем, кто эти рестораны, с позволения сказать, контролировал.

Слово «Крыша» ввели русские. В начале восьмидесятых. Сейчас, пять лет спустя, это слово стало привычным, вошло в обиход. Более того: теперь оно никого не смущало, а наоборот, успокаивало. Слово «крыша» переводится с русского как защита; это значит, что тебе есть к кому обратиться в том случае, если твои собственные полномочия, твои ресурсы, твои силы исчерпаны. Когда кто-то допускал произвол, когда возникали столкновения с теми же самыми русскими, набирался особый номер телефона и в трубку говорилось: «Мне хотелось бы встретиться с мосье Лемэтром». „Леметр“ — это был, конечно же, псевдоним. Она проверяла. Нет такого русского имени Леметр. В огромном справочнике русских православных имён она не отыскала такой фамилии; но один русский сказал ей, что в России существует имя Деметр. Имя это было цыганское. Так что, вполне возможно, он поменял одну из букв, наградив себя псевдонимом. Но это был не просто псевдоним — это была насмешка над французами — тонкая насмешка, против которой официально никак нельзя возразить. Когда француз говорил «Да, мосье Леметр, спасибо, мосье Леметр, произносил француз не русскую фамилию, а именно то, что

хотел этот русский: «Да, мой господин, спасибо, мой господин!».

...Но в основном с русскими имели дело русские. Она была одна из немногих, вошедших в общий бизнес с этими людьми: спонтанными, бесстрашными, плюющими на законы общества, не знающими никаких границ. Всё случилось десять лет назад. Галина Шестопалова продавала свой ресторан на улице Бассанб. Ресторан назывался «ЛАГУТИН» — по имени первого хозяина, Петра Лагутина, бежавшего в Париж в тридцатых годах из Харбина от «Культурной Революции».

В те годы русские уже хорошо освоили новую для них территорию, называемую Франция. Говорят, это было божественное время — конец двадцатых, начало тридцатых годов: заходящее солнце России осветило тогда своими последними лучами Францию, и Париж в особенности. В Париже было всё, чего можно было в то время пожелать. Не хватало только новой экзотики. Этой экзотикой и стали ажурные вывески, выписанные кириллицей: «Москва», «Распутин», «Ресторан у Яра»... Немного позже появился знаменитый по сей день «Максим» — для всего мира воплощение русской культуры на Западе.

Рестораны, принадлежащие русским, французы в те годы, правда, не посещали: экзотика манит, но это была особая экзотика — экзотика страны, которая страшным образом надругалась сама над собою. Нельзя сказать, что русских в Париже в двадцатых годах побаивались: выставки икон Натальи Гончаровой проходили с феерическим успехом, и её Светлость Мадам де Сюрталь сказала как-то: «*Mais ce ne sont pas des femmes, ce sont cathédrales!*»*. (*Но это не женщины, это целые соборы!) От ревнивой и высокомерной Сюрталь это был воистину комплимент!

Годом позже Дягилев в течение нескольких лет показывал в Париже блистательного, неподражаемого Нижинского-Фавна. Французы ходили на „Русские Сезоны“, но в основном для того, чтобы самолично увидеть Гения-Монстра Дягилева, всегда выходившего на прощальный поклон, и его... принято было говорить „друга“. Этот Гений-Монстр сломал, уничтожил бедного Мальчика-Фавна. Все в Париже знали, что причиной, точнее сказать, искоркой, которая дала начало его страшному помешательству, был один ответ Дягилева (он ни в коем разе не смел так говорить, зная, как раним этот юный гений, как ценит его Париж). Однако, после одного из спектаклей, они уединились вдвоём как обычно в «Тартаре» у Магдолэ, и Нижинский, окрылённый триумфом и немного опьянённый элем, который он так обожал, сказал, обращаясь к своему любовнику... (никто кроме Магдолэ не слышал этого разговора, так что, достоверность беседы двух гениев на его совести). Итак, юный фавн сказал: «Подумать только! Если бы не ты, я никогда не достиг бы такой славы; я был бы простым бедным польским хлопаком, трахал бы девку на сеновале и посещал бы пастора по воскресеньям, дабы тот отпускал мне и моей жене наши грешки...» И тут Дягилев произнес то, что перевернуло многое в головке юного Фавна... «Бедным хлопаком? Трахал бы девку???» (При этом он расхохотался так, что все вокруг невольно обернулись.) — «Отнюдь!!! Если бы не я, ты прекрасно жил бы у пастора в доме, подставляя ему свой зад, как только бы тот в нём нуждался... во всяком случае, гораздо чаще, чем по воскресеньям!».

Это случилось за год до окончания «Русских Сезонов»: без прекрасного Нижинского всё, увы, разлетелось в прах. После отъезда Дягилева, бедного мальчика ещё несколько раз видели у Магдолэ... вдребезги пьяного, не держащегося на ногах, с проститутками в обнимку, словно он пытался доказать всем, и в том числе самому себе, неправильность (о, как мягко сказано!) слов своего бывшего друга.

Итак, «Русские Театральные Сезоны» прекратились, но на смену им появились так называемые «Русские Поэтические Кружки», где над всеми царил некая Цветаева, поэтесса-мыслитель с воистину универсальным, „мужской силы“ талантом и даром слова. Говорили, что никакого труда не представляло для неё писать также красочно на французском, как и на родном языке. Всё это происходило в салонах „Beau Art“ или в закрытых частных кругах, на которые не попадал никто лишний. Французы любили такие круги, очень сожалели о том, что закончился русский театр.

Этот «голодный» до русской культуры переход из русского театра к «кругам» произошёл легче и свободнее, чем к русским ресторанам с их непривычным убранством и ещё кое с чем, что на первых порах никак не могли толерировать французы... В ресторане? Среди русских мужланов?!! — Нет, отвечали они. Смущало их при этом несколько иное, а именно тот факт, что, по слухам, в гардеробе ресторана «У Яра» стояла некая Тамара Чавахнадзе, бывшая в дореволюционную пору княжной, а гостей в «Москве» обслуживал, поднося квас и водку и исполняя русские куплеты-частушки, его сиятельство граф Владимир Охлопков. Тайная любовница Российского царя Николая, графиня Зинаида Крепкая пела тоненьким сопрано в «Алтае», зарабатывая себе на хлеб. Имена и звания сами по себе ни о чём не говорили, но для французов, привыкших к субординации, прислуживающая княгиня была в диковинку. Это не могло не смущать, а кое-кого и возмущать... и в то же время, не могло не заставлять о себе говорить.

Так или иначе, но к тридцатым годам русские рестораны сделали своё дело: завоевали сердца парижан. В эти годы и открылся тот самый «Лагутин» — тёмный, таинственный, со своим волшебным духом.

Пиотр Алексеевич Лагутин провладел своим детищем до сорок третьего года, страдая от того, что называется «nostalgie», и мучаясь непоплатенным долгом по отношению к такой бездарной, но такой любимой Родине. В Социалистической России уже как два года гремела война. Во Франции боши с триумфом прошли по Елисейским полям.

В конце сорок третьего Пиотр Алексеевич не выдержал — пересёк границу и вернулся в Россию, высказав страстное желание воевать вместе с соотечественниками против немцев. В этом же году он был объявлен в любимой России иностранным шпионом и расстрелян, как враг народа.

Ресторан «Лагутин» тем временем перешёл в руки законных наследников, доведён до разорения и к концу войны продан внучке графа Глинского Галине Шестопаловой-Сарансон за нелепые гроши.

Справедливости ради надо сказать, что не только «Лагутина» постигла подобная участь. В послевоенные годы разорились практически все русские заведения. Канули в Лету времена споров о правоте и политической дальновзоркости де Голля, времена партизанщины в провинциях — нестабильные, страшные времена. Франция возрождалась для новой любви, новых желаний. Французов потянуло к бурной, радостной жизни, к авантюрам, к удовлетворению всего того, что на время забрала у них война. Началась Великая Эпоха Мисс Тенгетт, кафе-шантанов, огромных шоу поющего кордебалета. В моду вошло всё французское. Они чрезмерно гордились своей культурой, ничего не хотели слышать о политике, всему на свете предпочитали возрождённый теперь „кан-кан“, льющееся рекой шампанское, ярко освещённую сцену Мулен Руж... Даже вернувшейся из провинции Пиаф пришлось потесниться: так велика была безумная жажда веселья, так ненавистны были страдания и слёзы.

Русские графы и князья тем временем с почестями хоронились на «Сан Женеви́ев де Буа». Сан Женеви́ев в сороковые годы было маленьким

заброшенным предместьем. Почему-то именно там русские стали хоронить своих соотечественников. Французам было плевать. И только позже, намного позже, когда русская культура вошла в моду, французы ревностно закричали: «Тарковский наш!» и «выторговали» его тело у советского правительства.

Как жаль! Как жаль, что ПОНИМАНИЕ приходит уже на уровне кладбища, если можно так сказать... В конце сороковых годов вовсе не было никакого понимания в этом плане. А, может быть, не было таких, как Тарковский?.. Во всяком случае, никто из коренных парижан даже и не знал, куда пропадают русские графы и князья, оставляя без призора свои дома и заведения, в которых теперь ни стареющие русские, ни восставшие к радости французы не нуждались.

Удивительно, но так длилось до шестидесятых, пока Россия вновь не вошла в моду. Всё началось с Хрущёва. Хрущёв потряс весь мир своей необузданностью и безграничностью планов. Но пока американцы, каждое воскресенье устраивая показательные «тревоги» с облачением в противогаз и спуском в специально оборудованные противоатомные убежища, с замиранием сердца следили за тем, как в России налаживается освоение атомной энергии, французы повернули головы к более весёлым сторонам русской жизни: водка, красная икра, балалайка и гармонь... причудливые шапки, называемые, кажется, «ушахи», и рубахи «навыпуск». И тут с удивлением обнаружилось, что всё это находится в каких-то ста метрах от Елисейских Полей с их дансингами и шантанами! В каких-то ста метрах, в узеньких тесных улочках ютились настоящие «Красные Жемчужины», как вскоре парижане любовно стали называть русские заведения. Каждому входящему туда подавали чёрную икру на чёрном же ржаном хлебе, а цыганский хор тут же запевал «Здравицу» — всё громче и громче, и так до тех пор, пока вы не выпивали „до дна“ поднесённую вам специальную рюмку без ножки — без ножки, чтобы отставить полной было нельзя. Выражение „Pei do dna“ стало общепонятным, при этом все убедились, что по крайней мере, по части гастрономии, на русского «мужлана» очень даже можно положиться. Французы во всё горло запели „La Rivière d'argent“* (*Французский эквивалент «Подмосковных Вечеров»: мелодия та же, но куллетов миллион, включая открыто антисоветские или крайне пошлые.), а русские из «старой гвардии», видя такой аншлаг и понимание, качали головами, вздыхая нечто типа: «Как жаль, Маргоша Апраксина не дожидала до этого...»

Иными словами, „сбылись мечты“: французы бросились в «Москву», «Распутин», который называли любовно, делая ударение на «и»; в «Ресторан у Яра», в «Максим». И в «Лагутин», разумеется, тоже.

Ирония заключалась в том, что ресторан «Лагутин» почти что за бесценок был продан Галиной Шестопаловой буквально за два месяца до этого самого «русского» бума. И приобрела его она, Сесиль Ривгош, француженка по происхождению, парижанка по зову сердца!

И это она довела бизнес с «Лагутиным» до ума: она оборудовала роскошный вестибюль с полом из белого мрамора, с античными (как ей казалось, православными) колоннами, резным потолком с потоками хрустала с золотых каркасов люстр, и резной же, деревянной лестницей наверх, в «Обеденную Залу». Она расчистила безграничные кладовые в подвале, превратив их в огромную каминную (в камин этой каминной залы вполне мог вехать грузовик). А чего стоили колонны и каменные ниши, кладенные красным кирпичом, который обнаружился после того, как содрали старую штукатурку! И это её идеей были цветные стрельчатые витражи в окнах, разбивающие солнечный свет на сотни, тысячи цветных лучиков, играющих в хрустале бокалов и серебре блюд! В дополнение ко всему она собрала самых лучших русских музыкантов Парижа, создав ту самую труппу, с которой

вполне конкурировал находящийся в то время — и всегда — в зените славы «Максим»...

И вот, она, Сесиль Ривгош, стоит теперь перед этим русским, словно школьница, слушая его «заключительную» речь, и время от времени повторяя: «Да, мосье Леметр, спасибо, мосье Леметр...». И произносит и слышит она в этот момент не русское имя, а, как настоящая француженка: «Уи, мой хозяин... мерси, мой хозяин...». И когда она покачивает головой, по лбу её перекачивается рубин на тонкой подвеске, свисающей с тончайшей золотой диадемы-заколки, но привычная часть её имиджа — диадема, и рубин, щекочущий сейчас лоб, кажутся ей теперь неуместными, более того, смешными и нелепыми.

Она боялась этой встречи и беседы с Леметром. Первая половина этой беседы прошла кошмарно: она будто не осознавала себя самоё, пока излагала своё дело. В этот момент она словно провалилась в воспоминания.

И всё время, пока она говорила с ним, машинально повторяя слова, заготовленные ещё несколько дней назад, и витая мыслями там, в тех годах, когда её ещё не было на свете; во взлётах и падениях русско-парижских кабаре, в канканах и этих диковинных русских нравах, — всё это время лёгким фоном, откуда-то издали звучала тихая, ненавязчивая музыка: пела Эдит Пиаф (ну, совсем не по-русски!). И когда она закончила говорить, Пиаф продолжала петь. Было что-то странное и ненормальное в том, что она всё это время перебивала своим расстроенным, осипшим от волнения шепотом голос Великой Певицы.

Умолкнув, наконец, она воззрилась в полумрак кабинета, пытаясь различить в этом полумраке лицо Леметра. А Пиаф всё продолжала петь.

И тогда Леметр, словно угадав её чувства, произнёс из своего полумрака:

— Все считают, что когда поёт эта женщина, должна воцаряться тишина.

Это было так неожиданно... Таких слов она от него вовсе не ждала. Всё, что угодно... отказ свершить правосудие, вопросы по этому делу, отнявшему у неё столько сил и здоровья... но разговор о песне... Хотя, разговор о песне вполне мог бы быть прологом к отказу...

А Леметр тем временем продолжал — бесстрастно и печально; тщательно, как ей показалось, выбирая слова:

— Тот факт, что эта женщина поёт для вас, вовсе не означает, что, умолкнув, вы должны непременно обратиться в слух. Её пение — это *разрешение*... разрешение действовать... призыв... Она пробуждает к тысяче действий, поступков... но никак не усыпляет своим пением, словно Сирена...

И тут же, не меняя интонации голоса:

— Мадам Ривгош, почему вы **сами** не действовали? Почему, как все законные налогоплательщики, не обратились в полицию, которая нас охраняет?

— По вине этого человека мой сын — наркоман, мосье. Но для полиции дело будет звучать иначе: «Ален Ривгош — наркоман». Точка. И потом, нет никаких доказательств, и человека из этой банды никто не видел в глаза. Всё, что я о нём знаю, я вам уже рассказала.

— Мы слышаны немного о вашем деле со стороны, мадам Ривгош, — проговорил он. — Человек, о котором вы рассказали, итальянец Антонио, принадлежащий к семье Спарачино. Здесь к ним не особенно серьёзно относятся, в Париже... так, мелочь... даже не мафия... торговля наркотиками по мелочам, изнасилования, драки... Всё по мелочам!!! Боже мой! Всё слишком мелко для того, чтобы судить о каком-то их вкладе в нашу парижскую клоаку!

Он даже не улыбнулся при этих словах и лишь продолжал:

— И человек этот, как вы сами понимаете, не на хорошем счету среди

честных налогоплательщиков.

Она молчала, затаив дыхание, боясь даже взглядом перебить, отвлечь его.

— Антонио Спарачино-Сениор занимается поставкой и сбытом дешёвого некачественного итальянского вина, что само по себе не может нас не смущать, как вы сами понимаете, но всё это, повторяю, мелочи... стрельба по воробьям*. (*Итал. Sparacino — „Маленький стрелок“.) К тому же, всё это — не наша область, если вы меня опять же понимаете... И, наконец, мы не можем ничего инкриминировать этим вашим „друзьям“. Гнусное обхождение с несовершеннолетним подростком?.. Это всё эмоции, мадам Ривгош. Мы не полиция нравов, а вы не относитесь к нашей диаспоре. В то же время, мне, как человеку... (он долго подбирал слово) ...взирающему на события со стороны, было бы нелепо противиться свершению того, что вы называете правосудием... тем более, когда ко мне приходят лично (лёгким жестом, будто художник кистью, он указал на неё) и просят о помощи. Всё теперь зависит от вас, мадам.

Она вскинула на Леметра непонимающий взгляд.

— Всё зависит от того, какую именно помощь вы хотите от меня получить.

— Я...

— Если бы вы нечаянно встретили Спарачино-Юниор, что... произошло бы?..

Она помедлила с ответом: — ...Я обращаюсь за правосудием **к вам**, мосье Леметр!

— Это было бы очень легко, мадам, — заказать кару и спокойно ждать, пока она свершится.

— Я не прошу никого покарать, мосье, я взываю к правосудию!

— Нет, мадам Ривгош, — проговорил он спокойно. — Будем называть вещи своими именами. Вы призываете покарать человека, который виновен в том, что ваш сын сидит теперь, как у нас говорят, «на игле». Вы просите меня покарать, а не судить, ибо в основе правосудия лежит разбирательство в обстоятельствах дела и выяснение вины тех лиц, что причастны к делу; кара же сравнима с ударом судьбы: несчастный случай настигает жертву, и никто при этом не ищет причин или чьей-либо вины. Итак, что бы вы с ним сделали, повстречайся вам однажды этот маленький стрелок?..

...И тут её прорвало. Прорвало всего лишь на четыре слова, но в эти четыре слова она вложила всё своё горе матери, все бессонные ночи, которые она провела, бессильно наблюдая, как сын её мучается в ломках, а затем, не выдержав боли, вновь и вновь медленно умирает от наркотиков... Попадись ей тот тип... Если бы только она смогла отыскать его...

— Я бы вырвала ему сердце! — воскликнула она.

Её *собственное* сердце тем временем глухо пропустило удар, а затем поскакало галопом так, что лёгким в груди перестало хватать воздуха: отчасти оттого, что она испугалась своего по-детски глупого и непростительного в данном месте и в данный момент порыва.

Минуту-другую в роскошном старинном кабинете воцарилась злоеющая тишина. Фраза эта, фатальная и жестокая, хоть и произнесённая в порыве отчаяния, но, по всему видно, обдуманная и пережитая, висела между ними в этой тишине ножом гильотины, готовым вот-вот обрушиться на окровавленную плаху. «Я БЫ ВЫРВАЛА ЕМУ СЕРДЦЕ». И приглушённый голос Пиаф пел тем временем о том, как одиноко и тоскливо без любимого осенним холодным вечером.

Наконец Леметр нарушил ставшее уже невыносимым молчание:

— Хорошо, — проговорил он всё так же спокойно и ровно; всё так же

подбирая слова. — Вы получите, чего хотели. Вы знаете, что ваш сын должен клану Спарачино определённую и очень немалую для приличного налогоплательщика сумму?..

Она знала. Каждый день, вернее, каждое утро, в конце рабочего дня, она сама снимала кассу. Она давно догадалась: что-то не так. Она знала, что пропадают деньги. Теперь же, стремясь защитить сына, боясь, что следующим вопросом будет «Как же вы это допустили», она покачала лишь головой. «Нет, она ничего не знает. Она ничего не знает ни о каких долгах». И получилось ещё хуже. Получилось, что она выгородила себя, оставив Леметру право думать о её сыне, как о воре.

— Сегодня одиннадцатое сентября, среда, — продолжал Леметр, — послезавтра, в пятницу, иными словами, в пятницу тринадцатого, — скрытый тенью, он внимательно посмотрел на неё. Лица она не увидела, только лишь чёрные цыганские глаза блеснули, вновь без тени юмора. Он и не думал смаковать каламбур про „пятницу тринадцатое“, для него это была конкретная дата в календаре, которую теперь она, Сесиль Ривгош, должна запомнить, — ровно в девять часов утра, — продолжал Леметр невозмутимо, — человек, которого вы обвиняете, Антонио Спарачино-Юниор переступит порог вашего заведения. Он будет требовать долг от вашего сына. Вернее сказать, он будет уверен, что придёт за долгом. Вы знаете, что ваш сын, Ален Ривгош, уже несколько раз встречался с Антонио в «Лагутине»?..

Вместо ответа она вновь только лишь покачала головой.

— Этот маленький итальяшка приходит в *votre institution*, как к себе домой, а вы об этом даже ничего не знаете...

Ей показалось, что теперь Леметр качает головой — расстроено и укоризненно. Так качает головой учитель, взирая на отбившегося от рук ученика.

Леметр ненадолго замолк, а затем, тоном, которым говорят: «Так уж и быть, возьмите ещё один кусок холодца», произнёс:

— Вырвите итальяшке сердце, если оно до такой степени не даёт вам покоя.

«Но...» — воскликнула, было, она. Она хотела возразить, солгать, что в её голове и не зрело такого плана — во что бы то ни стало слепо мстить — она пришла просить о *справедливой* каре! А слова про сердце — просто иносказание, эмоции!..

— Оставьте эмоции, — произнёс Леметр, словно угадав её мысли, — этот человек придёт к вам. Но он придёт не с «повинной», мадам Ривгош. Очень важно, чтобы вы это себе усвоили.

Вновь его цыганские глаза сверкнули в полумраке.

— Очень важно, — повторила она за ним чисто автоматически.

— Это не будет раскаявшийся грешник, — продолжал Леметр. — Просто случится так, что Антонио Спарачино-Юниору будет необходимо встретиться с вашим сыном. Иными словами, послезавтра ранним утром к вам будет звонок. Как ни тяжело вашему сыну, к телефону должен подойти именно он. Никто другой, только он, вам это понятно?

— Да, — прошепстели её непослушные губы где-то там, в ста мегапарсеках от её сознания и тела. При этом тело её словно опускалось в вязкую жидкость. Она буквально ощущала, как оно, тело, становится беспомощным и слабым... как его засасывает; как чёрные глаза этого цыгана гипнотизируют её...

— Спарачино будет просить о встрече и о возвращении долга. Ваш сын согласится с требованиями и назовёт время: девять утра. И Спарачино придёт. И что вы сделаете с ним дальше, никого на этой земле, в том числе и меня, не

интересует.

Она окаменела. Она была не в силах пошевелиться в кресле, в которое он усадил ее.

– Я должна буду... – слово никак не хотело слетать с её языка, – отомстить?

– А вы как себе представляли?.. Вы полагаете, более разумным было бы, если бы мстил Я?..

Она молчала с минуту. В эту минуту сотни мыслей пролетали у неё в сознании – о том, что за хорошие деньги можно поместить сына в частную клинику и просто-напросто забыть обо всём, что происходило; что можно, в конце концов, уехать из Парижа прочь, в провинцию, к престарелому отцу в Лек, к морю, где производят Белый Мускат и косят сено; что по сути дела, она не такая уж и плохая мать; что... Но все эти мысли перекрыл внезапно один единственный образ: её сын Алэн, абсолютно голый и худой, как скелет, бросается из спальни в ванную комнату к унитазу. Ядовито-жёлтая жидкость вырывается из его горла прежде, чем он успевает склониться над белым керамическим жерлом. Движения его неясны, нечётки, глаза ничего не выражают... у самого коврика – она это как сейчас видит – он толи поскользывается, толи от слабости не рассчитывает силы наклона... Звук был такой, словно лопнуло что-то внутри её мозга: Алэн ударяется головой об унитазный бачок, тот раскалывается, вода брызжет повсюду, и её мальчик, её милый добрый мальчик, хоронивший в детстве ласточку на заднем дворе, беспомощно растягивается в луже среди блевотины и белой пены... НЕТ!!! – прокричало сознание, – ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ТАК С НИМ... МЕСТЬ! ТОЛЬКО МЕСТЬ!!! А ПОТОМ УЖЕ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ.

– ...а вы как себе представляли?.. Вы полагаете, более разумным было бы, если бы мстил я?.. – доносится до неё.

И тогда она слышит свои собственные слова, словно записанные на плёнку, как тот голос Пиаф, что всё поёт о неразделённой любви и о сладких муках:

– Нет, мосье Леметр. Отомстить смогу только я сама.

Леметр тем временем поднимается всей своей грузной фигурой и, обойдя стол, направляется к креслу, в котором она сидит. Конец разговора. «Боже! Прочь, прочь отсюда!!!»

– Имейте лишь в виду, мадам Ривгош: трупы, брошенные в Сену, имеют обыкновение всплывать в самых неподходящих для этого местах, – говорит он, подходя к ней почти вплотную.

От этого его приближения её качнуло, как качает рыбацкий баркас, мимо которого проплывает огромный корабль. На лице Леметра, попавшем теперь в луч света – вновь ни тени улыбки. Он абсолютно серьёзен. Он говорит о трупах без юмора.

Она поймала себя на мысли, что стоит ему сейчас улыбнуться, попытавшись «смягчить» разговор о мести и о трупах, она непременно разрыдается. И будет рыдать не переставая, пока из неё не выйдут вся боль, всё отвращение к самой себе, вся жалость к сыну... если только жалость к собственному сыну не бесконечна.

Голос Пиаф тем временем взвился высокой, трепещущей нотой. От этого голоса, а, возможно, от паники, вдруг ворвавшейся в её душу, в глазах Сесиль потемнело, а её саму вновь закачало.

Отстранившись от неё, Леметр сделал неопределённый жест рукой:

– Говорят, после смерти **таких людей**, где-то на Земле обязательно появляется их воплощение...

Теперь она чуть не лишилась сознания: «Он говорит об ответной мести!»

Клан Спарачино будет им мстить!!! Но почему именно смерть?! Может быть, я не стану убивать его!..» — звенело у неё в голове вместе с тонким, пронзительным, отвратительным комариным писком, буравящим мозг: — «Меня втягивают в преступление! Я не хочу никого убивать!!!»

— ...иными словами, она должна была возродиться вновь, но в образе мужчины. — Его лицо, теперь освещённое легким вечерним лучом солнца, проникающим сквозь жалюзи цвета охры, озарилось, засияло вдруг. — Вы можете себе представить такого мужчину, — продолжал он почти со страстью в голосе, вновь приближаясь к ней, — маленький наполеончик, полный безумия и звуков, влюблённый во всех и ни в кого конкретно, ищущий сам не зная чего, страдающий тогда, когда не стоило бы страдать, и находящий утешение там, где никто никогда утешения не ищет? ..

Не в силах побороть панику, она поняла каким-то краем сознания, пока не охваченного всепоглощающим огнём, что речь идёт не о Спарачино и его клане.

— Вы можете себе представить такого мужчину, мадам Ривгош?

— Нет, мой хозяин... нет, мосье лё Метр...

Она и в самом деле не могла себе представить мужчину в образе Пиаф.

Парижанин

Меня зовут Певец.

Как утверждает Дюпрэ-Вивьенн, я — полный идиот, или, выражаясь по-научному, страдаю лёгкой формой аутизма. Кроме того, я недостаточно предприимчив, чтобы заработать хотя бы десять франков в день, имею голос, «который я своровал у Эдит Пиаф», и которого я не заслуживаю.. я никогда не научусь закрывать водопроводный кран, когда чищу зубы, а, тем более, сидеть на скамейках и бордюрах тротуаров так, чтобы не оставлять на своих джинсах тёмных пятен машинного масла или следов свеженанесённой краски, которые пачкают потом их стиральную машину.

Ещё я неисправимый космополит, бедный мечтатель и мастер попадать во всякого рода неприятности. Это уже говорят все остальные — те, кто меня ненавидят меньше, чем Дюпрэ-Вивьенн. Если уж продолжать гнетущую садомазохистскую тему, то можно ещё рассказать, что думает обо мне — и не только думает, но и говорит вслух — Маша Симошкина, по мужу Мари-Дюпрэ-Вивьенн, супруга того самого Дюпрэ-Вивьена, который считает меня ненормальным. Маша Симошкина утверждает, что я хронический неудачник, и что иметь необычный голос ещё ровным счётом ничего не значит. Для того, чтобы преуспеть в этой жизни, нужно в первую очередь быть в ладу с самим собой. А это в свою очередь означает, что все свои комплексы нужно вначале вытащить на поверхность, а затем разобраться в них. Самый главный комплекс, который мешает человеку преуспеть — это собственная сексуальная жадность, или, если точнее цитировать Машу Симошкину — „сексуальное жлобство“.

«Какой может быть разговор о карьере артиста, если артист этот не справляется с самой элементарной задачей, возложенной на всех артистов Земного Шара — сексуально удовлетворить женщину, находящуюся в

смятённых чувствах?!!»

Для кандидатов наук ещё раз повторяю, что это слова не мои. Так считает Маша Симошкина, по мужу Дюпрэ-Вивьенн.

Мы пытались спорить с ней на эту тему, приводя всякие разумные доводы... Мы вообще много проводили времени вместе — пока Дюпрэ-Вивьенн пропадал где-то в недрах Парижа в надежде принести в клюве пару-тройку червячков в их семейное гнездо. Парижа я тогда не знал. Я имею в виду, поначалу, как приехал. Вообще-то, мы познакомились с Машей в Москве... ну да ладно, это неважно. Важно то, что мы пытались спорить с ней на тему различия сексуальности и сексуальной озабоченности, приводя всякие разумные доводы.

Мой разумный довод заключался в том, что я не могу заниматься сексом с женщиной без любви. Довод Мари Дюпрэ-Вивьенн заключался в том, что я просто-напросто латентный пидер, и в связи с этим лучше бы я поскорее выметался из её дома, будь проклят тот день, когда она меня пригласила. (Если вообще всё вышесказанное можно назвать доводом).

...Но все эти ужасы про меня слишком преувеличены. Правда — вот она. В двадцать один год я ещё не получил достаточного сексуального опыта, для того, чтобы ложиться в постель с первым встречным. Я вообще, как бы это сказать... нахожусь в стадии становления своей личности... и очень обидно, что в такую прекрасную пору (я имею в виду стадию становления), мне приходится вступать с двумя отвратительными недостатками, данными мне природой: мой рост метр шестьдесят пять, что, сами понимаете, не может не вызвать приступа отчаяния у мужчины, а моё зрение — не зрение, а просто какая-то пародия на зрение. Иными словами, я практически ничего не вижу без очков, а очки мне не позволяет носить собственная гордость. Называйте это, как хотите, но певец в очках — всё равно, что рояль на лыжах. А певец, ростом метр с кепкой, да ещё в очках при этом, просто не заслуживает права ходить по этой земле.

Отсюда и начинается вся ерунда — с того, что я слепой, и при этом упрямый слепой: какие пятна на асфальте, если я наощупь кручу диск в телефоне-автомате?! А мой так называемый „аутизм“ — никакой не аутизм, и не болезнь вовсе. Просто отсутствие реальных зрительных впечатлений заменяют мне мои мечты. Мне кажется, это разумное объяснение, и никакой аутизм тут ни при чём. Сексуальные контакты?.. как только произойдет эта встреча — глаза в глаза, сердце к сердцу, я вам обязательно об этом расскажу.

По поводу же моего космополитизма, — более реально будет сказано «по поводу того факта, что за все полгода пребывания во Франции я ни разу не позвонил домой родной мамочке», так это вовсе не от того, что плевать мне на маму и Родину. Всё гораздо прозаичнее и вместе с тем, глубже: ВСЕ ЭТИ ПОЛГОДА Я ЖИВУ, КАК КАРАСЬ НА СКОВОРОДЕ! Вы знаете, кто там сейчас сидит? Я имею в виду, там, в России, в Кремле?.. Вот так-то. Даже тот факт, что я продержался здесь почти шесть месяцев, говорит о том, что я герой. Я уже давно тайно присвоил себе звание «Героя Кап-Труда» и его у меня никто не отнимет.

К труду, правда, у меня особое отношение. Маша Симошкина считает меня ненормальным. Она имеет на это полное право: именно она сделала мне визу и приглашение в этот увлекательный тур, теперь более похожий на затяжной прыжок без парашюта. Правда, слушать Машу Симошкину теперь нет смысла. Маша Симошкина теперь далёкое прошлое, после того, как она выставила меня за дверь своего роскошного особняка на улице Триши почти в самом центре Парижа. А выставила меня она именно потому, что я решил здесь работать. Вот тогда-то она и произнесла свою последнюю фразу.

«ТЫ НЕНОРМАЛЬНЫЙ», — сказала она, больно ударив меня захлопнувшейся дверью по ноге.

С туристической визой, видите ли, нельзя петать на улицах, да ещё с туристической визой, которая три дня тому, как просрочена.

Во всём виноват, правда, Дюпрэ Вивьенн, законодатель моды в этом семействе. С самого начала он реагировал на меня, как гончая на зайца. «Марусь-я, он ненормальный... Марусь-я, зачем ты его пригласила...» Больше всего его раздражал тот факт, что зовут меня Певец. Нет, ещё страшнее для Дюпрэ-Вивьеннского уха: CHANTEUR! Французы розовыми соплями растекаются, когда узнают, что вы — турист и приехали совершить «божественный круг»: Нотр Дамм — Плас Пигаль — Тур Эйфель и затем вдоль Сены — назад в Нотр Дамм, который уже закрылся на ночь. Но стоит вам только заявить, что вы собрались жить в их закаканном собаками и забитым автомобилями Париже, они превращаются в чёрных Гарпий: «Как это так?! В НАШЕМ Париже? — Это невозможно! Никто не вправе жить в Париже, кроме нас, парижан! Только мы, парижане, имеем право попирать ногами улочки и скверы вдали от туристических маршрутов и днями просиживать в бистро возле автобусных остановок за широкими стёклами, словно манекены, выставленные на всеобщее обозрение! К тому же русские — такие свиньи! Они не уворачивают кран, когда чистят зубы, они принимают ванну вместо душа, не экономя воды и бродят по городу с огромными клетчатými баулами от „ТАТТ“, словно рысаки, списанные с Дэрби, с клеймом „Второй Сорт“ на холке!!!»

Пфу-у! Длинная получилась тирада, но именно так они нас клеймят.

С „ТАТТ“, правда, всё и началось. Вернее, с того дня, когда озабоченный моим будущим Дюпрэ-Вивьенн спросил меня как бы походя, почему я не покупаю своей мамочке духи по пять франков флакон и прочую чушь, что зовётся в России „дефицит“. Тут-то я и объяснил ему, что ни флаконы, ни моя мамочка меня по большому счёту не волнуют. Потом я вынул из дорожной сумки свой заграничный паспорт и для наглядности синим фломастером, который лежал во время нашего разговора на столе, зачеркнул свои русские имя и фамилию на той странице, где была приклеена фотография.

— Теперь я зовусь новым, французским именем Chanteur, — пояснил я и написал размашисто и гордо это имя поперёк всего разворота моего паспорта.

Короче, они выставили меня за дверь.

«Не очень-то радуйся!», — проорал я Марии Дюпрэ-Вивьенн сквозь разноцветный витраж их входной двери, — «Если меня поймут, меня всё равно приведут по адресу, что стоит в твоём приглашении!»

«Вонь» — закричала она. Она даже нормального русского слова теперь выговорить не может.

«Вонь, так Вонь», — отозвался я и, запрыгнув в телефонную будку, занялся „прицельным обстрелом“, как я называю этот процесс.

Так я попал в Бордо.

...В Бордо, „у самого синего моря“, жил так же в отдельном особнячке ещё один, сменивший фамилию «тютькин» на «дюпрэ-вивьенн». Хорошо, буду говорить уважительно и без иронии...

В городке Бордо недалеко от Атлантического Океана жил мой друг. Его звали Грин, а настоящего его имени я не знал. Грином его прозвали еще в России, потому что промышлял он в то время тем, что выменивал на Красной Площади у «америкосов» доллары на армейские значки. Мы учились с ним в школе, потом я занялся всеми этими бесплатными глупостями под названием „искусство“, а он, по окончании школы, быстрехонько женился на

француженке по имени Лизетт с домом, с огромным садом и тремя автомобилями. Семья Лизетт придавала этим мелочам огромное значение, и для новоиспечённой супружеской пары не иметь новый телик „Akai“ с огромным, как крышка стола, кинескопом и со звуковыми колонками в придачу, было просто позором.

Техника в эти годы шагнула ой как далеко — появились кассетные видеоманитофоны, и что немаловажно в истории, которая приключилась между мной и Грином — начали появляться эти телефонища без кабеля, с огромной антенной, похожей на баллончик от сифона. По этим неуклюжим монстрам причудливой формы можно было позвонить в любой конец света. Назывались эти телефоны „спутниковые“, ещё — „портабль“. Иметь „портабль“ здесь, во Франции, было роскошью, достойной каннских миллионеров...

Итак, после моих бесконечных телефонных звонков из Парижа, Грин и Лизетт сжалились и предложили мне подъехать в посёлок Рир, откуда они заберут меня к себе. «Короче, созвонимся, как подъедешь» — сказал Грин в трубку.

И вот я в Рире. Дозвониться до Грина и Лизетт нет никакой возможности: номер, который я набираю, не отвечает, а звонить можно только с местной почты. До местной же почты от того места, где я болтался, топтать километра два.

Целых три дня я провожу в этом богом забытом рыбацком посёлке на самом побережье в двадцати километрах от Биариц. Грань, разделяющая Биариц и Рир — невероятная — всё равно, как если сравнивать шикарную обеденную залу с тёмным крысиным подвалом. Там — величественные белоснежные яхты, променады с лестницами, ведущими к фешенебельным отелям, застеленными красными коврами; шумные толпы туристов и — музыка, музыка на каждом углу (полицейские, впрочем, тоже). Здесь — рыбаки, которые про Париж слушают, как про сказку-небылицу; их жёны, занимающиеся починкой сетей и сплетнями про соседей; и без конца свист океанского ветра, перемешанного с белым песком. И никакой полиции, что вселяет в душу некое спокойствие.

Спал я под перевернутой рыбацкой лодкой и ел рыбу, которой меня угощали „les pêcheur“ за пару спетых нот из «парижской», как они говорили, песни. Днём я пинал босыми ногами волны и собирал в воде океанские раковины самых причудливых форм и оттенков, не говоря уже о том, что раковины эти пели — океан в них шумел, понимаете?..

Теперь начались телефонные звонки из Рира. На третий день я к ним дозвонился. Оказалось, они выезжали на пикник.

Ещё раз объясняю им ситуацию: «В Париже у меня не заладилось. Помогите, дайте немного прийти в себя».

Короче, подкидывая в ненасытный телефон-автомат монетки и обещая быть пайнкой, я разжалобил Грина с супругой, и они согласились приютить меня — пока я не найду работу в каком-нибудь шантане. Мы назначили место встречи: задрипанная автостанция „Peugeot“, на шоссе номер пять, в полукилометре, не доезжая Рира, которую они с трудом отыскивали на карте. Сидя здесь, в этом зное, трудно было поверить, что всего в каких-нибудь пятистах метрах отсюда бушует океан, освежая влажным бризом, и бегают дети с мячиками и всякими там корабликами.

Всё время, пока я ждал их, сидя на разогретом, словно кухонная плита, бордюре, я думал — чем отблагодарить своих друзей... что им подарить такое — милое, и при этом не дорогое?.. Денег у меня почти не было; то есть, настолько не было у меня денег, что я не мог даже купить им „амулетики от

сглаза“ у местных торговцев всякой всячиной, бродящих тут же, возле меня, несмотря на жару, со своими лотками наперевес.

И вот тогда-то, в самый последний момент, мне пришла в голову эта идея – подарить Грину и его Лизетт поющую Океанскую раковину.

Раковина, гладкая и розовая, словно небо младенца внутри, и блестяще-серая снаружи, словно покрытая матовым лаком, предназначалась в подарок моей маме (по возвращении в Париж я собирался отослать её в Москву бандеролью с письмом – некая компенсация за отсутствие телефонных звонков). Теперь раковина эта лежала у меня на ладони и являлась собственностью моих спасителей. Это было и в самом деле чудо, а не раковина.

Я поднёс ладонь с чудом к левому уху, чтобы в последний раз услышать шум Океана, когда они подъехали. Я сидел, слушая Океан, почти уже погружившись в прекрасный сон, когда возле правого моего уха зазвучал голос Грина:

– Ни хрена себе! Рассказывает о том, как ему плохо, а сам сидит себе на парапете и названивает по спутниковому телефону!

Я, ничего не понимая, повернулся на голос. Волшебная раковина так и осталась прижатой к моему левому уху.

– И давно у тебя это??? – спросил Грин.

– Что „это“, – не понял я.

– Спутниковый портабль!

– Что-о-о????!! – раздался за его спиной голос Лизетт, – этот хрен трандит по спутниковому, а мы мчимся за тридевять земель его спасать?!!

Наверное, от шока, я так и не понял, что произошло. А шок был от того, что французская супруга Грина говорила на чистейшем русском с небольшой примесью мата! Я повернулся, левая рука моя опустилась, ладонь разжалась – и вместо роскошного „портабль“ с длинной тонкой антенной и всякими там кнопками на корпусе супруги увидели в ладони моей простую морскую раковину. Теперь она казалась такой жалкой и ничтожной... и я вместе с нею казался сам себе жалким и ничтожным.

Лизетт ещё не успела закончить свою обличительную речь о наличии у меня современного чуда техники, как я глупо, и совершенно не к месту произнёс, протягивая им жалкий свой презент:

– Это раковина. Я сам её нашёл. В ней Океан поёт... вам в подарок...

После этого между нами пролегла серая тень. Иными словами, контакт не заладился ещё до того, как Грин узнал, что друг его мастер попадать во всякого рода неприятности; мечтатель, космополит; оставляет пятна на джинсах, пачкающие стиральную машину; не уворачивает водопроводный кран, когда чистит зубы, и так далее в обратном порядке.

Вдобавок, как заключительный аккорд нашей несостоявшейся пьесы, уже ни о чём не жалея, я показал ему и Лизетт свой паспорт. На этот раз я даже не стал дожидаться слова «Вонь» из-за витражной двери, а, подняв с каменных ступеней при входе пару ассигнаций, брошенных мне, как подаяние, напрямехонько направился на вокзал.

Скорый поезд привёз меня обратно в Париж. Целый месяц пролетел, как сказка, пока у меня не кончились деньги. Вы же знаете уже, что я принадлежу к породе людей, которые навряд ли смогут заработать и десяти франков в день...

Последним моим пристанищем был отель Вольтер на одноименном Бульваре Вольтер, что недалеко от Плас Де Насьон.

Четверг двенадцатого сентября стал знаменательным днём. Это был день, когда я больше не мог оплачивать свой одноместный номер на третьем этаже,

в самом конце коридора. И ещё в этот день мне снился прекрасный сон...

Свобода
12 сентября 1985 года.
Четверг.

...В моём прекрасном сне я пел и играл на призрачно-прозрачном рояле, но рояль этот не стоял в концертном зале, или в дорогом Парижском кафе... Призрачно-прозрачный рояль стоял в Москве, в переходе на Арбате.

Я пел, а мимо проходили люди — сотни, тысячи жизней, судеб... некоторые подходили ко мне, говорили «Спасибо, нам так хорошо, когда вы поёте». Как всегда, я не видел людей отчётливо, только тени, но во сне моё тени улыбались. Это были очень дружелюбные тени. И я открывал рот, чтобы сказать им: «Приходите завтра, послезавтра... всегда — я здесь буду всегда!» — но из горла не вылетало ни одного слова.

Я с ужасом понимал, что могу только петь, притом какую-то странную, нелепую, чудовищную песню — сложную, непонятную, необычную в своей непонятности, с необычными, нерусскими словами... Слова же — простые русские слова — не хотели вылетать из моего горла. Но я вновь упрямо отрывался от клавиатуры, хрипел, пытаюсь сказать «Спасибо вам!», а из горла опять вырывался судорожный кашель, в глазах темнело... Тогда я бросился на спасительным клавишам призрачно-прозрачного рояля, и карусель замкнутого круга продолжалась: звучала музыка, и вместе с ней — песня на непонятном языке, с трудом, с кровью вырывающаяся из моего горла.

А тени всё проходили мимо... появлялись и исчезали, бросая мне вместо мелочи „спасибо“, и я так и не мог ничего ответить. Слезы катились из моих невидящих глаз и, проснувшись, я обнаружил, что уши мои залиты водою, и подушка мокрая, словно с потолка дешёвого отеля только что шёл дождь.

...Я оглядел комнатку. По золотому тону прежде, вечером, серовато-грязных обоев я понял, что начинало светать. К гомону бульвара Вольтер добавились пение птиц и грохот машин, убирающих с тротуара огромные разноцветные контейнеры для мусора. Сон как рукой сняло.

Сегодня торжественный в некотором смысле день. Сегодня в полдень я должен наощупь, и при этом гордо спуститься вниз по крутой, узкой, покрытой вытопанной тысячей ног ковровой дорожкой лестнице, постаравшись не сломать себе при этом шею; предстать перед хозяином отеля — пятидесятилетним тощим марокканцем и, расплатившись с ним за неделю проживания, «вылететь» в свободный полёт на шумные парижские улицы.

Но я не буду ждать до полудня! Скорей, скорей, прочь отсюда! Если уж предстоит испытать нечто невероятное, а именно, тотальное, всепоглощающее одиночество в огромном, таком любимом городе, то немедленно, не дожидаясь часа, когда хозяин поднимется в номер сам. Оказаться в роли затравленной, ждущей казни жертвы — не для меня. Я уйду достойно — так, словно там, в синем мареве, окутавшем волшебный вождеденный город меня кто-то ждёт!

Я схватил свою спортивную сумку, бросился в коридор, скатился по лестнице, замедлив шаг уже у конторки хозяина, приветливо помахав рукой

его матери, готовившей в кухне, расположенной в глубине холла, завтрак: огромная сковорода чавкала начавшими припекаться куриными яйцами с ветчиной. Ох уж, этот запах!!! Вдыхай, Певец! Очень маловероятно, что в ближайшее время тебе удастся позавтракать так, как позавтракают сейчас эти люди...

Появился тощий хозяин-марокканец. Этих не проведёшь: они всегда точно знают, насколько пухл кошелек их постояльца. Хотя бы по тому, какую сумму постоялец выделяет на чаевые.

На потёртую поверхность стойки лёг счёт: триста пятьдесят франков за пять дней, по семьдесят франков в сутки. Я протягиваю деньги, разжимая кулак, в котором они были зажаты, и сразу понимаю, что это глупо: не нужно иметь пылкое воображение, чтобы представить, как я, сидя там, наверху, в номере, судорожно отсчитываю купюры, опасаясь, что не хватит. Был бы я поумнее, нужно было бы открыть портмоне, покопаться среди, якобы, денежных купюр (на самом деле, в ворохе бесполезных счетов из многочисленных бистро), и только потом протянуть ему нужную сумму. Но не то, что бы я не мог показывать свой портмоне (хотя, при одном беглом взгляде на него — рваный, из фальшивой крокодиловой кожи невероятного грязно-серого цвета — возникает образ ночлежки и несвежего нижнего белья), дело совсем в другом... Деньги и всякие ценные бумажки я привык носить зажатыми в кулаке, — тогда в нужный момент не придётся рыскать повсюду, слепо тыркаясь по карманам и отделениям сумки.

Короче, я расплачиваюсь и сломя голову бросаюсь вон.

...Там на улице я чуть было не задохнулся от обилия свежего осеннего прохладного воздуха, света и непонятных лучей, исходивших от стен домов, от предметов, от немногочисленных прохожих, от автомобилей, припаркованных к обочине тротуара. Для меня этот неизвестного происхождения свет и есть Париж. Запах Парижа в сочетании с этим светом — и есть та самая Богема, к которой летят, словно мотыльки на огонь, художники и романтики со всех концов земли.

Париж пахнет кофе, парфюмерией, бензиновым душком и цветущими розами. В любое время года, в любой час дня и ночи. Когда-нибудь, наверное, я встречу кого-то самого близкого, самого любимого человека на этой Земле, и он расскажет мне, как Париж выглядит. От чужих людей я этого слышать не хочу. Так что, с видами Парижа придётся потерпеть.

Я улыбнулся проходящей мимо толстой негритянке, помахал рукой тощему марокканцу, вышедшему из отеля вслед за мной с кухонным полотенцем в руках, и рванул вприпрыжку по правой стороне бульвара, как я предполагал, к Плас Де Насьон.

Только тут я по-настоящему осознал, насколько голоден. Ноги не держали меня, а голова кружилась, словно бегу я не вдоль по улице, а несусь на призрачных санях, не касаясь земли, по Американским горкам: вверх — вниз; вверх — вниз... захватывает дух и сосёт под ложечкой.

Едва лишь свернув за угол, я наткнулся на маленькое кафе с прозрачной стеной, открывшееся, по видимому, за минуту до моего появления: хозяйка распечатывала кассу, гарсон снимал со столов стулья, перевёрнутые на столы на ночь; в огромной кофемолке перемалывались кофейные зёрна.

Кофемолка электрическая, но мастер, сотворивший её, явно жил ещё до той поры, когда Эдисон открыл то самое электричество. Это особенность Парижа. Его не отмыть от Средневековья, он пропитан им насквозь. Всё здесь кажется старинным, почтенным и антикварным.

У стеклянной стены, под крайним столиком, лежала огромная собака,

задумчиво созерцая просыпающуюся улицу и редких прохожих. Было шесть часов утра.

— Как её зовут? — спросил я.

— Крэпо.

— Ну что ж, Крэпо, — обратился я к псу, — не пора ли нам позавтракать и всё хорошенько обдумать?..

Крэпо кивнул мне в ответ, и тут же отвёл взгляд, как бы говоря: «А что тут думать... и думать особенно нечего, чтобы понять, что дела плохи!»

— И всё же... что мы имеем в нашем распоряжении, — прошептал я чуть слышно, глядя на Крэпо.

Крэпо махнул огромной головой, будто бы отгоняя печальные мысли, и, положив её на мохнатые лапы, сдвинул брови «домиком».

— После того, как я сейчас здесь, у твоей хозяйки позавтракаю, ничего мы не имеем, Крэпо...

Подожшла та самая хозяйка. В самом начале дня, она ещё пахла прохладным душем и цветочным мылом. Через несколько часов запах этот сменится не менее чарующим ароматом женского тела, чеснока и пудры для лица.

Я сделал заказ: чашка кофе — минус семь франков из моего бюджета, стакан минеральной воды — ещё минус пять франков, круассан „Croque-Monsieur“ за восемь франков, копчёная ветчина с гарниром из зелёного горошка в майонезе — минус одиннадцать пятьдесят, графинчик белого вина, чуть больше двух стаканов — двадцать франков. И того, пятьдесят пять франков, включая чаевые, которые здесь, во Франции — непреложный закон. Мозг, натренированный на безденежье, тут же вычел полученную сумму из бюджета, сообщив, что в кошельке осталось не больше ста двадцати франков. Сигнальная лампочка, сообщающая о начале кризиса, которая до сих пор мерно мигала в моей голове, зажглась ровным, тревожным светом. Это означало: „какюк“. Если я сегодня не сумею что-то предпринять, мне какюк!

Входная дверь отворилась. Крэпо поднял голову, оценивая нового посетителя.

Я же кинул взгляд на столик. Передо мной стоял заказанный мною завтрак. Возможно, первая и последняя еда на сегодня. Вот, что мы имеем, Крэпо! Но мы имеем ещё голову на плечах. И эта голова подсказывает сейчас моему телу, что самое подходящее место, куда я могу в этой ситуации отправиться — это...

— Мосье чем-то недоволен?..

Незаметно подошедшая к моему столику хозяйка вырвала меня из моих мыслей.

— О, нет, всё так в порядке, — проговорил я на *своём* французском, — всего скорее, это я просто несколько озабочен... это я решаю вопрос: куда в Париже ты можно отправиться, чтобы найти работу, как вы думаете?..

— Вы русский? — прозвучал встречный вопрос.

— Я родился в России, — ответил я, — меня зовут Chanteur.

Словно в подтверждение этих слов, я привстал со стула и пропел несколько строк из „Le Bateau Ivre“ — песни, которую я написал на стихи Рембо.

Крэпо поднял свою тяжёлую голову и уставился на меня с удивлением.

Хозяйка же произнесла:

— Это невероятно! Кто научил вас так петь?

— Никто. Я сам.

— Но у вас божественный голос! — вырвалось у неё. — Можно сказать, вы

— воплощение «мом» Пиаф! Иными словами, вы прелесть!

— А вы поживите со мной немного, тогда быстро измените своё мнение,

— я снова сел в свой стул. Получилось неучтиво, потому что моя собеседница продолжала стоять возле.

— Как жаль, что не удастся с вами пожить, — парировала она, — хотелось бы проверить! После моего пения она заметно оживилась:

— Вам нужно обратиться в центр Русской Культуры! В газетах часто пишут про этот Центр!

Снизу вверх, я посмотрел на подошедшую, как на Оракула:

— И вы знаете, где этот центр находится?

— Минуточку, я принесу телефонный справочник!

И уже от стойки:

— Неужели вы и в самом деле приехали из России?

— Да, из Москвы.

— Боже мой! Москва! Театр «Большой»! Вы воистину счастливый человек!

— Наверное, — уклончиво отозвался я, про себя же подумал: «Знаем, знаем. Стоит мне сейчас сказать, что я намереваюсь прожить в Париже до сорока, короче, до самой старости...»

— Вот, смотрите! — женщина вновь подошла к столику, на этот раз с толстым телефонным справочником. — Ему, правда, уже пять лет (она указала на толмуд), но в Париже всё не меняется так быстро!

Проведя на манекюрным пальцем по мельчайшим, бисерным, невидимым мне строчкам, она указала в одну из них:

— Centre culturelle de Russie, Рю Буасьерр, шестьдесят один! Это в седьмом квартале. А вот и телефон. У вас есть куда записать?

Не дожидаясь моего ответа, она изящно склонилась надо мной, так, что я уловил божественный аромат её парфюма, и стремительно вывела карандашом на обратной стороне квитка от моего завтрака номер телефона и адрес.

Катя Фридкин

Из тёплого, пахнущего кофе и свежим хлебом кафе, я вышел в почти морозный холод. «Наверное, она права, наверное, она права», — вертелось в голове.

Наверное, и в самом деле нужно наладить отношения с русской эмиграцией. Париж... Восемнадцатый год! Сколько их сюда понаехало! Сколько ресторанов и кабаре было открыто! Какой большой культурный пласт! И где, как не там, нужно искать то, что я теперь ищу!!!

На перекрёстке я принялся изучать небольшой щит с планом квартала. Седьмой квартал здесь не был указан, но направление вело на запад, по Кеннеди Авеню, в сторону Сангри.

По авеню Кеннеди я решил двинуть пешком, едва сдерживая себя, чтобы не перейти на бег. В первой попавшейся на глаза телефонной будке я, разжав запотевший от волнения кулак, развернул записку с адресом, смачно плюнул на её лицевую сторону со счётом из кафе и приклеил бумажку к стенке будки, красочно расписанной графити. Теперь номер телефона был прямо у меня перед глазами.

В Центре Русской Культуры было занято, если это вообще был центр Культуры. «У нас в Париже всё меняется не так быстро» — сказала мне мадам...

Остальной путь по Авеню Кеннеди, до дома под устрашающим номером „666“ я добежал почти бегом. Вновь телефонная будка, вновь я тыркаю слепым пальцем в отверстия диска...

— Centre culturelle de Russie, — раздаётся картавый женский голос там, по ту сторону провода, и я подпрыгиваю от звука этого голоса.

— Добрый день! Вы говорите по-русски?

— Я вас слушаю. Дама продолжает картавить, несмотря на то, что перешла теперь на русский.

— Меня зовут Певец, — произнёс я, с внутренним восторгом пробуя на вкус это слово. — Я живу в Париже...

Дальше я застрочил, как из пулемёта, ничуть не смущаясь своего вранья. Вернее, это и не было никаким враньём — я теперь и в самом деле живу в Париже. Все пути назад отрублены. Я — парижанин.

— Я парижанин, продолжаю я. Я исполняю шансон на русском и французском языках... «мне нужны деньги, заработок», — хотел сказать я, но вовремя умолкнул. Слова «деньги» и «заработок» могут лишь отпугнуть.

— Я ищущу связи, — прокричал я в запотевшую от моего нервного дыхания трубку.

Я запнулся. Что дальше говорить, я не знал. Ситуация была глупой. Вот так, по телефону, что-то объяснять... рассказывать всю свою жизнь, всю предысторию, доказывать с пеной у рта, что Дюпрэ-Вивьенн был полным идиотом, и что Мария Симошкина звучит гораздо лучше, чем Маруся Дюпрэ-Вивьенн!!!

— Что вы ищете? — переспросила меня картавая дама.

— Я ищущу связи. (О, Боже, как пошло звучит! Еще хуже, чем «Деньги» и «заработок»!)

— У нас центр культуры, — объясняют мне с того конца провода.

— Так это же очень хорошо, — неизвестно чему радуюсь я, — я же пою песни на поэзию Вертинского, свои, ...Бродского...

— Вы знаете Бродского? — задумчиво интересуется дама.

— Лично нет, но я хорошо знаю его стихи. Пожалуй, лучше, чем он сам, — пошутил я. Шутка получилась глупой.

— А я знала Бродского лично, — отвечает мне моя собеседница.

И я понимаю, что разговор завязался!

— Ваш голос очень похож на голос Бродского, — продолжает она, — мы встречались с ним в России, не помню, когда это было; потом он приезжал сюда, в Париж... в позапрошлом, кажется, году...

— Мне очень тяжело, — признался я.

Я хотел рассказать даме о том, что виза моя закончилась уже как четыре месяца тому назад, что в любой момент я могу угодить в полицию, что у меня нет денег, и что я ни в коем случае не собираюсь возвращаться назад, в Россию. Но всё это немедленно вступило бы в противоречие с тем, что я сказал ей до этого, а именно, с тем, что зовут меня Певец, и что я — парижанин. А это — последнее и единственное, что согревает меня сейчас в холодное сентябрьское утро; единственное, что заставляет меня бороться дальше; единственное, что я не предаю ни в коем случае. И поэтому, на брав в лёгкие воздуха, я выдыхаю лишь:

— Мне очень тяжело... я стою сейчас здесь, на Авеню Кеннеди...

— Ах, как я вас понимаю, — восклицает мне в ответ картавая дама, — я сама торчу в Париже уже столько лет, хотя мне предлагали очень хорошую

работу в консульстве в Марселе...

Монеты в моём кармане тают, как весенний снег, но я не знаю, как прервать её, как направить наш разговор в нужное русло. Всё, что мне от них надо, это один, два, а может быть и несколько концертов в их культурном центре. Ведь, если они занимаются культурой, то, наверное, умеют ценить хороший шансон...

— Я на Авеню Кеннеди... здесь... не так уж и далеко от вас, в седьмом квартале, — в отчаянии намекаю я.

— Так приезжайте! — голос дамы теперь звучит ликующе: возможно, моё отчаяние она принимает за патриотический экстаз. — Приезжайте же, тут и поговорим — о Бродском, о русской литературе. Рю Буасьерр, шестьдесят один!

— Я знаю, — успеваю лишь только сказать я. Сознание того, что тебя где-то ждут — что может быть большей поддержкой для человека в моём положении!

Я бросился на улицу Буасьерр. («Я нахожусь на первом этаже, у самого входа!» — объяснила мне дама, — «Меня зовут Катя, Катя Фридкин!») Начался безумный марафон. До Сангри я проехал на метро, с трудом отыскав ближайшую станцию, но наверху была забастовка со всеми вытекающими из этого последствиями: автопробки, толпы народу... выход из метро был перекрыт полицией. Так что пришлось проехать одну остановку дальше и возвращаться пешком. Из-за этого манёвра я потерял очень много времени, испугался, что Катя Фридкин уйдёт, мои нервы совсем сдали, что случается не так уж и часто, и на какой-то из маленьких улочек, где не было ничего, кроме вереницы стоящих один за другим таксомоторов, я вскочил в такси, очевидно совсем потеряв голову. Ума у меня, правда, хватило, поинтересоваться у водителя, во сколько эта поездочка может мне обойтись. Оказалось, в пятьдесят франков. Такси в Париже стоит на вес золота, но, слава Богу, с этими «копченными» можно ещё торговаться... Пятьдесят франков — именно та сумма, которая теперь была зажата у меня в кулаке, и именно та сумма, лишившись которой, я оставался совершенно нищим. Но цель оправдывает средства, не так ли?..

И вот, в тот момент, когда я плюхнулся на сидение такси, мне и приснился новый сон... Нет, я, конечно, не спал — просто вся эта цветная мишура, мелькающая у меня в глазах — люди, дома, авто, рекламные плакаты по обеим сторонам дороги, ввели меня в некое подобие транса, о котором так красочно повествовал Дюпрэ Вивьенн...

Я поднялся по ступенькам... вошел в холл... «Здравствуйте» — проговорила Картавая Дама, выходя почему-то из-под лестницы, — «Уже по телефону я поняла, что у вас необычный голос! Пройдёмте, пожалуйста, сюда... Здесь у нас стоит рояль... не пугайтесь, он совершенно прозрачный, но при этом настоящий... И не смущайтесь... мы пригласили кое-кого... тех людей, которые хотели бы вас послушать. Начинайте же!

Рояль издал божественные звуки... так приятно было петь в этом помещении, для этих людей!

Я исполнил им всего лишь одну песню, когда меня прервали: «Мы так рады, что вы посетили нас, дорогой Певец, — произнёс тот, чьего лица я никак не мог разглядеть, — знаете, говорят, после смерти таких людей, как Эдит Пиаф, где-то на Земле обязательно появляется их воплощение... Иными словами, она должна была возродиться вновь, но в образе мужчины... И теперь мне кажется, мы, наконец-то отыскали этого мужчину — маленького наполеончика, полного безумия и звуков, влюблённого во всех и ни в кого конкретно, ищущего и не находящего... страдающего там, где не стоило бы

страдать!!!

«Да, это я», — хотел ответить я тому, чьего лица не различал, но вместо этих слов из моего горла вырвалось: «Посмотрим, что вы скажете, когда я засру вашу стиральную машину, или пару раз не уверну ваш поганый водопровод!!!»

«Ну и дерьмо!», — было мне ответом... «Ну и дерьмо!!! Так мы никуда не приедем!»

...Там, в реальной жизни, которую я ощущал между тем всеми фибрами души, я ударил себя по щеке.

— Ну и дерьмо, — проворчал водитель такси, оборачиваясь ко мне, — Так мы никуда не проедем!

Я не сразу сообразил, что мы почти приехали и понял это только тогда, когда водила развернулся, пустившись в объезд. Улица Буасьерр оказалась улицей с односторонним движением! Поняв, что мы делаем крюк, я занервничал, стал просить вернуться назад, высадить меня — в общем, вёл себя совсем не достойно парижанина. И всё из-за этого сна. Сон не выходил у меня из головы. «Этот сон — пророчество, — колотилось в висках, — всё будет очень хорошо, тебе наверняка предложат концерты, только ради Бога, Певец, когда тебя будут о чём-то спрашивать в этом Культурном Центре, семь раз подумай, перед тем, как молотить свою чушь! Культура — вещь тонкая, она не терпит неправильных ответов!»

Как видно, водила решил, что нервничаю я оттого, что у меня нет денег (что, в принципе, так и было) — я же говорил, что они нюхом чуют дырявые кошельки, — ибо он шумно выдохнул вместе с никотином:

— Если вы тот час же выложите мне те пятьдесят франков, на которые мы договорились, денег за «крюк» я с вас не беру.

Ровно в двенадцать тридцать машина остановилась на узенькой улочке у арки, ведущей во внутренний дворик. Высадив меня, таксист ударил по газам, увозя последние мои деньги; а я взбежал по ступенькам парадного подъезда небольшого особнячка в стиле «Плевать мы на всех хотели».

«Не пори чушь, — вновь предупредил я себя, — думай, прежде чем что-то сказать!»

...Катя Фридкин сидела за маленькой конторкой слева, под лестницей, совсем, как в моём сне. На этом совпадения заканчивались.

— Monsieur, vous ales ou? — Окликнула она меня, когда я, не успев оглядеться и проскочив весь холл, направился к огромному окну, завешенному тяжёлыми шторами, приняв его за парадную дверь. (*Господин, вы куда?)

Я повернулся на голос:

— Меня зовут Певец!

— Так это **вы** звонили?

— Да, обрадовался я.

— Я узнала вас. Вы даже внешне похожи на Бродского. Проходите, — она жестом пригласила меня в некое подобие маленького кабинета, устроенного под каменной «графской» лестницей — помните его кошку?..

Смутно я вспомнил, что на некоторых фотографиях Бродский изображён с котёнком на руках.

— Кажется, помню, — ответил я, не понимая, каким образом мой визит может быть связан с кошкой Иосифа Бродского.

Катя Фридкин прямо-таки воссияла:

— Эту кошку ему подарил мой папа. Вы знаете моего папу?

— Лично пока не знаком, — радостно ответил я.

— Он уже умер, — пояснила моя собеседница безо всякой грусти в голосе, обычно сопутствующей таким словам. — Вы читали его статьи?

— Очень давно, — соврал я, понимая, что всё больше и больше погружаюсь в пучину вранья.

— Он первым выступил в защиту Солженицына, за что и поплатился.

— Чем? — испугался я. В сознании возник сверкающий нож французской гильотины, с грохотом опускающийся на дубовую плаху.

— Как чем? — вскинула брови Катя Фридкин, — Тем, что я теперь торчу здесь, в Париже.

— И давно вы здесь... торчите?

— Десять лет, — сокрушённо выдохнула она. — Обычно я не сижу на телефоне, — продолжала Катя Фридкин, — меня сегодня попросили, а так я всё время там, — она ткнула пальцем в скошенный потолок, пожелтевший от сигаретного дыма.

Потом она подняла трубку до сих пор молчавшего телефона, послушала минуту гудок, и, успокоившись, как видно, продолжала:

— Мы подарили Иосифу кошку, но он оставил её в Питере, когда уезжал в Америку. Та кошка совсем другая.

— Понятно, — отозвался я, обведя глазами помещение. На стене висели два пятна. При ближайшем рассмотрении это оказались плакаты:

«У нас в гостях Александр Градский» — гласил первый. Второй сообщал о приезде в город Париж Юрия Куклачева. С очередной партией кошек.

— Я вижу, у вас здесь проводятся концерты, — осторожно начал я тему, которая, вопреки моему пророческому сну, всё никак не хотела возникать.

Катя Фридкин вздрогнула, будто это слово пришлось ей не по душе или больно ранило:

— В прошлом году приезжал Булат Окуджава, но народу было мало... Сами, наверное, знаете, как тут у нас...

— В каком смысле? — не понял я.

— На какие концерты вы ходите в Париже?!!

— Ну, — начал, было, я, не зная, что должен в этом случае сказать истинный парижанин, — Мулен Руж...

— Вот именно, — обрадовалась Катя Фридкин, — столько соблазнов, что о наших вспоминают в последнюю очередь. Она посмотрела на меня теперь более внимательно. Я бы сказал, в первый раз за время беседы обратила на меня внимание: — Как я вас понимаю! О, Боже, как я вас понимаю!!!

— Я пою, — только и нашёлся я, что сказать.

— В Мулен Руж?

Конечно, нужно было сказать «Нет». Но беседа, хоть и была прерванной, но складывалась так гладко... то, что я пою в Мулен Руж, напрашивалось как бы само собой...

— По-разному! — нашёлся я и поспешил добавить: — Я бы и у вас с удовольствием спел!

— О, было бы интересно послушать, — обрадовалась Катя Фридкин, — песня голосом Иосифа Бродского... Вы ведь сказали, что его песни тоже поёте?

— Пою. А с кем можно поговорить на этот счёт?

— С Евгением Александровичем. Он тут начальник. Вы думаете, они мне платят за мою работу? Ошибаетесь! Если так будет и дальше, я уйду. Меня приглашали в Марсель, в Культурное Представительство. Надоело работать на одном энтузиазме.

— А где он, этот Евгений Александрович?

— Сейчас попробую ему позвонить, но он сегодня уезжает. Вряд ли он найдёт время с вами встретиться.

Катя Фридкин сняла телефонную трубку и набрала номер.

— Алло, Евгений Александрович? Здесь пришёл бард, он хочет

поговорить с вами насчёт концертов... поняла... хорошо.

— Он не может с вами встретиться, — выдохнула Катя Фридкин, положив трубку на рычаг аппарата и почему-то при этом с обидой посмотрев на меня и проговорив грустно: — Но минут через сорок он должен спуститься вниз. У вас есть шанс его поймать.

Выйдя из подлестничного кабинетика, я присел на жёсткую банкетку.

— Я скажу вам, когда он выйдет, — пообещала Катя Фридкин уже более приветливым тоном.

...Очень увлекательный разговор произошёл с Евгением Александровичем. Евгений Александрович пролетел мимо меня метеором.

Уже у самого выхода Катя Фридкин окликнула его:

— Евгений Александрович, это тот самый бард...

Я как можно более вежливо поздоровался:

— Здравствуйте, вообще-то я не бард. Я пою шансон на русском и французском языке. Я сам пишу свои песни. Меня зовут Певец.

— Певец, это псевдоним такой? — Евгений Александрович окинул меня взором с ног до головы, словно собирался шить мне костюм.

— Нет, это моя сущность. Я — Певец, и этим всё сказано.

— Ну а имя, фамилия у вас есть?

— Нет. Теперь больше нет.

— Интересно. — Он и в самом деле заинтересовался, даже портфель, что нёс в руке, поставил на пол. — А в паспорте что у вас стоит?

— В паспорте стояли имя и фамилия, но я их зачеркнул.

— Как это понимать, зачеркнул?

— Очень толстым фломастером. Синим.

— Это вы так образно выражаетесь? — Евгений Александрович посмотрел на меня с надеждой.

— Нет, — спокойно и честно ответил я.

— То есть, тем самым, вы хотите сказать, что сначала вы наругались над советским паспортом, а теперь приходите в Культурный Центр, просить концертов?

— А какое имеет отношение моё пение к паспорту?

Евгений Александрович повернулся к Кате Фридкин:

— Катюша, вы разговаривали с этим молодым человеком? (Теперь он обращался к ней и только к ней: понизив голос, как бы, отстраняясь от меня).

— Разговаривала, — неуверенно произнесла Катя Фридкин.

— А если вы уже поняли, что он „того“, как вы могли позвонить мне, и ещё что-то говорить про концерты?! Зачем вы здесь, вообще, сидите? — Евгений Александрович распалялся не на шутку. — Вы сидите здесь, чтобы сортировать. Вы понимаете это слово? — СОР-ТИ-РО-ВАТЬ!!!

— Простите, но... — начала, было, бедная Катя Фридкин, выходя из-под своей лестницы с видом, с каким выходят из камеры заключения на казнь.

— Никаких но! Выдворите этого шута немедленно из здания!

Он повернулся ко мне, затем, встретившись, очевидно, с моим непреклонным взглядом, замешкался на минуту, потом вновь развернулся к Кате Фридкин, совершив довольно элегантно «па»: правая рука его изящно поддела руку Кати Фридкин, и уже через секунду они как ни в чём ни бывало прогуливались вглубь просторного тёмного холла, совсем забыв про меня.

Там, в туманной дали, возле окна, которое я сослепу принял за парадную дверь, они приостановились и несколько минут о чём-то шептались. Я понял, что сейчас решается моя судьба: Катя Фридкин, очевидно убеждает этого непростого человека хотя бы прослушать моё пение. Совсем, как в моём сне...

Через секунду они так же изящно развернулись, и их чёрные на фоне

белого прямоугольника окна фигуры зашагали из туманной дали ко мне.

При ближайшем рассмотрении Евгений Александрович — о, чудо — улыбался!!! Я понял, что судьба вновь повернулась ко мне лицом.

— Мы тут посоветались, — ласково промурлыкал мой спаситель, — короче, Катя напоит вас чаем...

Сказав это, он вновь развернулся — решительно и проворно, и зашагал к выходу со своим портфелем.

Как только за моим спасителем закрылась входная дверь, Катя Фридкин бросилась ко мне:

— Убегайте скорее, — чуть ли не прокричала она, — удирайте, пока я звоню по телефону!

— А куда вы собираетесь звонить?

— Анатолию Семёновичу, — откликнулась Катя Фридкин уже из своего подлестничного кабинета.

— Вы будете звонить по поводу меня?

— А по поводу кого же ещё! Евгений Александрович дал такую команду, я не могу его ослушаться!

— Но зачем же мне убегать, если вы собираетесь звонить Анатолию Семёновичу?

— Потому что Анатолий Семёнович, увидев ваш паспорт, тут же вызовет органы! Кстати, — она выглянула из-под лестницы, — вы и в самом деле перечеркнули свою фамилию?

— И имя тоже!

— Боже, как я вас понимаю! — взволнованно зашептала Катя Фридкин, — но поймите и вы, сейчас не семидесятые годы! Теперь нельзя действовать такими методами... Алло, Светочка, пожалуйста, Анатолия Семёновича... По срочному делу. Евгений Александрович просит...

— Такие методы теперь пресекаются! (теперь она вновь обращалась ко мне) Это раньше можно было высунуться в окно, прокричать «Свободу Солженицыну», и на следующий день оказаться в Париже! Теперь такие трюки не проходят!

— Алло, Анатолий Семёнович?.. Убирайтесь отсюда, пока не поздно... Пожалуйста! Нет, это я не вам... Евгений Александрович просил вас немедленно спуститься сюда, здесь очень непонятный гость... нужно проверить его документы... вполне может оказаться, что...

На несколько секунд она замолкла, прижимая трубку к уху. Видимо её прервали. Прервали надолго. Катя Фридкин молча слушала.

— Уходите, — зашипела она, продолжая слушать и зажимая трубку рот, — уходите быстрее! Вы видите, я ничего не могу поделать!!!

Она и в самом деле ничего не могла с собой поделать.

Сердце моё разрывалось при виде, как в этой милой женщине борются стукач и порядочный благородный человек.

— Катя Фридкин, с первого, из холла, — проговорила тем временем Катя Фридкин в трубку, — простите... учили. Теперь голос её звучал подавленно и силно: — Простите, Анатолий Семёнович... Это Катя Фридкин с первого этажа, с вахты... Евгений Александрович просил вас спуститься к нам, здесь молодой человек с неправильными документами. Евгений Александрович просил разобраться.

«Вот так-то лучше», — почти что услышал я голос Анатолия Семёновича.

Катя Фридкин, дрожа руками, положила трубку на рычаги.

— Сейчас он будет здесь. Вы что, не понимаете, молодой человек? Вас сейчас просто схватят и отправят куда надо!

На секунду она умолкла, затем выскочила из-под лестницы и

приблизилась ко мне:

— А, может быть, вы нас просто разыгрываете?.. Покажите мне ваш паспорт.

Я охотно достал из заплечной дорожной сумки свой заграничный паспорт.

Развернув его на страничке, где была приклеена фотография, Катя Фридкин побелела, как снег.

— Вы и в самом деле сошли с ума, если так поступаете с документом общественной важности, — только и смогла произнести она, протягивая мне назад красную книжицу.

В это мгновение дверь лифта в дальнем конце холла раздвинулась, и мимо нас с озабоченным видом проплыла мадам с коробкой, полной кухонной утвари — чашки, ложки, вилки, ножи позванивали, как звенит посуда у официантки в вагоне ресторана поезда Москва-Трускавец. Вслед за мадам из лифта показался молодой господин с коробкой, из которой торчали горлышки винных бутылок тёмного стекла.

— Катя, вы же знаете, что я переезжаю, — начал господин с «порога».

Катя в ужасе покосилась на меня.

— Этот молодой человек... Евгений Александрович просил проверить его...

Господин всем телом, вместе с ящиком, развернулся ко мне:

— Кто вы. Представьтесь, пожалуйста!

— Меня зовут Певец, — проговорил я.

— Фамилию доложите, — предложил господин.

— Анатолий Семёнович, — вмешалась Катя Фридкин, — его документы...

— Моя фамилия Chanteur, — повторил я.

— Ничего смешнее не придумали? — поднял бровь Анатолий Семёнович.

Дама, что первой вышла из лифта, стояла теперь возле входных дверей в полной нерешительности: руки ее были заняты, и открыть дверь она не могла; Анатолий же Семёнович так же не мог открыть ей двери; а Катя Фридкин была настолько возбуждена увиденным в моём паспорте, что напрочь позабыла о своих прямых обязанностях.

— Хотите, я спою? — предложил я, и, не дожидаясь позволения, вновь, как тогда в кафе, исполнил несколько строф из „Пьяного Корабля“ Рембо.

На этот раз результат был прямо противоположный. Если сказать ещё точнее, Анатолий Семёнович просто не сумел дослушать моё пение до конца: ярость так и распирала его организм.

— Катерина, — возопил он, вспугнув эхом своего голоса голубей за окном, — немедленно звоните в охрану!

— Даже Крэпо уважительно молчал, когда я пел, — заметил я.

Катя Фридкин принялась крутить диск телефона.

— Что ещё за КрЕпо! — воскликнул сбитый с толку Анатолий Семёнович.

— Пёс в кафе.

— Катерина!!! (Решительно, без Кати Фридкин здесь никто не мог обойтись ни минуты).

Обиженный невниманием, я двинулся к двери.

— Стоять! — прозвучал мне в спину звонкий голос, — Катерина! Как его фамилия???

— Певец, — с готовностью доложила растерянная Катерина.

— Стоять, Певец!

Но я уже захлопнул за собой тяжелую высокую дверь.

Сан Женевьев Де Буа

Итак, — думал я, — главная моя ошибка заключается не в том, что я неправильно и необдуманно отвечал на вопросы, а в том, что я, сам о том не ведая, отправился в то место, где требуют паспорта. Такое место, как Русский Культурный Центр, не для тех, кто рисует в паспорте фломастерами. Тем более, фломастерами мрачного цвета. Но мне нужны русские!!!

А где на всей земле есть такое место, где можно встретить русских, и при этом у тебя не спросят паспорта?.. — Ответ напрашивался сам собой: Такое место — кладбище. Там, пока ты ещё жив, никто не будет спрашивать у тебя документов. Вот когда умрёшь, тогда — ни-ни без паспорта или без надлежащей бумаги! На кладбище всё совсем иначе, чем в жизни!

«На Сан Женевьев должно произойти нечто важное», — твердил я теперь, стоя на балкончике автобуса, несущего меня к Порт-д'Иври. И тут же, на балкончике, мне приснился очень странно-престранный сон... До Орли я доехал на рейсовом, дальше — на попутке. Водитель благородно не взял с меня денег, ибо, только сев в авто, я тут же признался, что «сегодня есть некредитоспособен, но что сегодня, этим утром для меня решается вопрос жизни и смерти».

Он довёз меня до самого городка, где я, как сумасшедший, бегал туда-сюда, ибо никто из местных не знал толком, где это самое русское кладбище находится. Таким образом, среди могил я оказался лишь к одиннадцати утра. И здесь же, среди могил, я встретил её... Это была дама — солидная и очень богатая, судя по внешности. Мне запомнился её головной убор, если это можно было назвать головным убором: в распушённые рыжевато-золотые кудри была вправлена диадема-заколка, с которой на высокий бледный лоб на тонкой золотой цепочке свисал огромный рубин. Казалось, что во лбу у дамы горит звезда. Как у феи из сказки.

«Я прошла по этой аллее, подчиняясь инстинкту: я шла на голос. В человеке заложен инстинкт следовать за Прекрасным», — произнесла дама — о, ужас — грубым мужским голосом.

«Но сегодня я и не собирался петь» — выдавил я из себя.

«Как же... а в кафе, где живёт пёс?..»

На моё счастье, голос дамы вернулся в свой реальный диапазон.

«Вы там тоже были, в этом кафе?» — спросил я лишь для того, чтобы после того, как отзвенел этот странный её голос, не нависло над нами и надо всем кладбищем пустынной паузы.

«Я уже давно следую за вами, — уверила меня дама, — честно говоря, мне нужно было бы начать следить за вами ещё раньше, но от меня долго скрывали...»

«Что от вас скрывали?» — не понял я.

Тут дама как-то странно развернулась, встав в профиль ко мне, взмахнула широким плащом из лёгкой полупрозрачной ткани, полы плаща на мгновение закрыли её прекрасное лицо, затем ткань стала как-то странно тяжелеть, густеть... и, наконец, упала. Её лицо было окровавлено. В середине лба зияла огромная рана. Точнее сказать, это была дыра. Дыра от пули. «Они скрывали от меня всё, что происходило с Аленом!!! — обречённо выдохнула она, приседая в позу статуи „кладбищенской скорби“. И само её лицо напоминало теперь маску скорби — совсем, как те лица, которые смотрели на нас с могил своими пустыми мраморными глазницами. Только лишь тёмно-красная густая кровь стекала по бледному этому лицу, капая тяжёлыми

маслянисто-тёмными каплями на белый мрамор, над которым она склонилась.

«Я ничего не знала! Я была в полном помешательстве!!!»

Очевидно: она была именно в том самом состоянии, о котором говорила. И — о, ужас — она продолжала говорить, невзирая на пулю во лбу!!! «Что же, маленький стрелок... пришло время отомстить...» Вновь подняв руки, она окутала лицо тяжёлой тканью. «Будь ты проклят, маленький стрелок...» — пролетело над кладбищем. А затем женщина упала, распластавшись на белом сверкающем мраморе прямо передо мною. А с аллей начали сходить люди. И у всех у них были пули во лбу.

...До Орли я доехал на рейсовом, дальше — на попутке. Водитель благородно не взял с меня денег, ибо, ещё не сев в авто, я честно признался, что «сегодня есть некредитоспособен, и что этим утром для меня решается вопрос жизни и смерти». Он довёз меня до самого городка. Я вышел из такси в таком состоянии, какое бывает, когда вы вдруг проснулись среди бела дня, и не понимаете, где вы, и что с вами происходит. В городке я, как сумасшедший, в состоянии полной протрации, бегал туда-сюда, потому что никто не знал толком, где это самое русское кладбище находится.

Таким образом, среди могил я оказался лишь к одиннадцати утра. Зрелище надгробий подавило моё сознание ещё больше... Все посетители кладбища — французы. Ни одного русского. Пять раз меня спрашивали, где могила Тарковского; совершенно случайно я набрёл на Нуриева — могила была скромная — небольшая плита и маленький крестик с табличкой*. (Во время, которое описывает автор, роскошное надгробие Рудольфу Нурееву ещё не было поставлено. Примечание переводчика. ЛА-Ш) И мне вдруг очень захотелось — не знаю почему — быть похороненным вот под таким крестиком, на этом самом кладбище Сан Женевьев де Буа... Я почти увидел воочию маленькую могилку и крестик над нею...

«ПЕВЕЦ» — было красиво выведено на этом крестике — на поперечной узенькой планке.

Вот в таком восторженном и в то же время препоганом настроении я и побрёл к выходу, к церкви при кладбище. Я даже и не пытался истолковать свой сон, навеявший на меня такую печаль — если истолковывать всю чушь, что я вижу в моих видениях, толкования эти не поместятся ни в один толковый словарь.

Уже немолодая французская чета, которую я повстречал на аллее, сказала мне, что там, у самого выхода, в часовенке есть русские старушки, которые «знают здесь всё». Что именно они знают, чета не объяснила. «Каков вопрос, таков и ответ», вновь заметил я про себя. (Я спросил их, где здесь можно найти русских).

«Певец, — взмолился мой внутренний голос, — побойся Бога! Уж где-где, а здесь русских — **навалом**, в прямом и переносном смысле.

С печальным видом я побрел вдоль по аллее, к выходу, время от времени озираясь по сторонам.

На одной из могил было начертано: «Софи, нашей нянечке и другу».

Кем ты была, нянечка Софи, Софьюшка?.. Весёлая, кудрявая, упрямая, капризная...

На могиле Дроздовцев, прямо перед плитой Дмитрия Рухлина, я прочитал: *«Впереди лишь неизвестность дальняго похода, но лучше славная гибель, чем позорный отказ от борьбы за освобождение России! Это символ нашей веры. Полковник Дроздовский, Яссы, 26 февраля, 1918 года».*

Никто бы не сказал лучше, и на секунду я почувствовал укол совести: вы, господа, наверное, не перечёркивали синими фломастерами в паспортах свои

имена!!!! И ещё вы покидали Россию с любовью. И любили её до последнего глотка воздуха в лёгких. Только вам повезло, что вы ушли так рано... Нянечка Софи, судя по всему, ещё дожила до тех дней, когда то, что называли раньше Россией, растоптали и разграбили окончательно.

...Было холодно и мерзко на душе, когда я добрался до конца аллеи. Я раскрыл калитку и вошёл в церковный притвор в полном раздражении, ненависть всех, в первую очередь, самого себя — за свои мерзкие видения, за синий фломастер, за всё.

Вот так, раздражённый, ненавидящий, я и увидел их...

За небольшой, деревянной, как в дешёвых гостиницах, стойкой сидела женщина. Женщине было лет восемьдесят, но она всё равно была женщиной. Покрытый псориазом лоб тщательно замазан французской пудрой. Тщательно, и безуспешно... Можно было подумать, что со времён своей молодости женщина не смывала пудру, накладывая каждый день всё новый слой... слой за слоем. «Может быть, это она — та, которая с диадемой?» — подумал я. Но та, из моего видения, была моложе...

При моём появлении в дверях, женщина встрепенулась, улыбнувшись неожиданно белозубой, пластмассовой улыбкой. Когда я заговорил по-русски, с годами угасший взор её оживился.

— Добрый день, я приехал из России, — сказал я, терзаемый неожиданным приступом мук совести. Не мог я сказать этой женщине, что я — парижанин, понимаете?... Кому угодно, а ей не мог!

— Из Хоссии, — закивала женщина, и редкие кудряшки, обнажая проплешины, запрыгали у неё на черепе, — очень хахашо, мы хады! — Из Хоссии, — повторила она, смакуя это слово, как леденец.

— Я... Певец, — воодушевился я, — я пою свои песни на стихи Вертинского.

— Вехтинского... я помню Вехтинского, — вслед за мною воодушевилась мадам.

Костлявые руки её затряслись, и она стала похожа на огромную марионетку из папье-маше — огромную, пыльную и абсолютно непредсказуемую.

— Махри, Махри, — проскрежетала марионетка, — из Хоссии, тут из Хоссии!

Слева из-за закутка материализовалась ещё одна дама.

— Б-журр, здрс-те, — выдавила она, корчась в невероятных судорогах.

— Махри, я была на всех концертах Вехтинского, — сообщила первая мадам, пытаясь подняться. Попытка не удалась, мадам так и осталась трястись в своём стуле, развернувшись к Мари всем корпусом, потому что отдельно от туловища голова ее уже не поворачивалась.

— Уий, уий, — просвистела Мари, словно лопнувшая шина, — маман б-ла на всех концертах Вертинского! — Радости её не было предела.

Не дав затянуться повисшей вдруг в воздухе паузе, я объявил весьма неуверенным голосом:

— Я пою романсы, я ищу русских...

— Млд-ой члв-к, — обратилась ко мне Мари, не переставая дёргаться на невидимых нитях, — здезь все рrr-р-усские!

Вначале я не понял, что она имела в виду, а когда понял, то холодный пот прошиб меня.

— Я ищу **живых** русских, — поправился я, — я ищу кого-то из русской эмиграции...

— Все уже умерли, — сообщила Мари тоном, с каким накладывают резолюцию.

– Как же так, – вмешалась в разговор её мама со своего стула (удивлению её не было предела), – а графф Фолжанский?..

– Умер, – воскликнула Мари, сияя на этот раз беспричинной радостью.

– А графиня Елена Сташевская? – поинтересовалась маман.

– Умерррррла. В восьмидесятом годе.

– А Оххловы?

– Умерли, – отрезала Мари, – причем, давно уже.

В какой-то момент я не на шутку испугался. Мадам посмотрела на нас беспомощно, глубоко вдохнула воздух, крупная слеза скатилась с её пергаментной щеки, и я решил, что она так может и помереть – тут же, в церковном притворе, на кладбище. Подумать только! В одночасье узнать о смерти столько близких тебе людей!

Короче, я понял, что мадам теперь станет нехорошо.

– Вы не горюйте, – произнёс я как можно более нежно, – может быть, это другие Орловы умерли...

Большей глупости в утешение сказать, конечно, было нельзя.

– Надо посмотреть в газете, – ожила мадам, вовсе, как оказалось, и не собираясь умирать. Костлявая белая рука скользнула куда-то в сторону и перед моими глазами выцветшей простыней вспорхнула несвежая газета.

Мне показалось, что в заголовке я увидел старинные, с восемнадцатого года, надписи через «ять» – такие, какие только что, минут пять назад, видел я на памятниках могил. Очень красивые, витиеватые были заголовки. Прочитать я их, естественно, не мог... без очков.

Мари хрустнула суставами и нависла над газетой: – Млд-ой члв-к, зап-шите адрес: р-р-рю Б-б-б-сье-ррр, шш-сят один.

– Рю?..

– Бу... бу...бу-сье-ррр.

Я перегнулся, весь трепеща от священного волнения, через стойку, и в этот момент мне показалось, что я наклонился над краем свежесвырытой могилы. В ушах звенело слово «эксгумация». Но вместе с тем чем-то священным веяло от этих двух дам. Примерно так же чувствовал я себя, будучи прилежным школьником, когда весь наш класс повели смотреть на Дедушку Ленина.

Тем временем длинный жёлтый ноготь указал на строчку.

– Буасьерр, – прочитал я, – Русский Центр Культуры имени Пушкина.

– Какая радость! – искренне обрадовался я, – я и не знал, что центр этот носит имя Александра Сергеевича! Но я только что оттуда!

– Что, неужели и там все умерли? – воскликнула маман.

– Нет – успокоил я дам, – там требуют паспорта, а мой паспорт временно вышел из строя... На долю секунды я смутился. Мне показалось, что строгая маман потребует у меня сейчас мой несчастный паспорт.

Но маман и не думала о таких мелочах.

– Я снаю, куда фам надо, – проговорила она, озарённая, – пишите адрес.

Следующие два адреса звучали очень красиво: «Русский Дом в Буасси» и Русский ресторан в центре Парижа на улице Бассано. Ресторан назывался «Лагутин».

Я выпрямился, отошёл от деревянной стойки-ограды.

– Merci, mes dams, – я склонился в лёгком поклоне.

Так нас учили в театральной школьной студии: у Островского все склонялись в поклонах перед старыми людьми.

Дамы на мгновение застыли за своей деревянной оградой, затем широкие улыбки раскололи их лица пополам, а из глаз полились слёзы.

— Храни вас Бох-х-х, — прошелестело у меня за спиной, — мы будем за вас молиться!..

— Большое спасибо, — поблагодарил я. Мне и в самом деле было очень приятно, что такие почтенные дамы будут молиться за меня. Нет, воистину, Центр Русской Культуры имени Пушкина и в подмётки не годится тому месту, где эта культура похоронена.

Нина Ли

Как я выяснил по карте, Буасси со своим Русским Домом находилось между городком Сан Женеьев и аэропортом Орли. Это было очень удачно для меня: я мог заглянуть в Буасси на обратной дороге в Париж. Всю оставшуюся до Парижа дорогу я проделал, катаясь в автобусах «зайцем» — немалое искусство, должен вам сказать, и требует полного отчаяния и смятения в душе.

В Буасси меня приняли вполне радушно. «Русский... У нас много русских...» Ох уж мне эта фраза!

Средних лет дама, приветливая и кокетливая, представилась мне: «Мадам Дюренн», и безо всякой паузы, игриво и вместе с тем деловито продолжала:

— Здесь много русских... было когда-то. Из первой волны. Затем понаехали те, что из Харбина, потом вторая волна... Это всё было, разумеется, без меня, — она кокетливо повела глазом, — теперь мало кто остался.

— Старенькие все стали? — догадался я.

— Вы сказали, вы актёр?

— Да, мадам, Chanteur... Точнее даже сказать, меня зовут Певец.

— И что за песни вы поёте?

— Chanson.

Она пронзила меня взглядом, и опять я не смог солгать.

— Русский chanson на французском языке: моё собственное изобретение, — поправился я с гордой интонацией в голосе.

— Не представляю, как chanson может быть русским, — высокомерно заметила мадам Дюренн, откинувшись на спинку крутящегося стула.

Нас разделял огромный письменный стол, девственный и нетронутый. Лишь одна единственная папка из чёрной кожи торжественно лежала на его планшете. «Словно памятная доска на могильном камне» — мелькнуло у меня в голове.

Из этой-то папки-доски она и извлекла небольшую книжицу.

— Давайте, посмотрим, что у нас там есть...

Она сказала это таким тоном, словно речь идёт не о людях, а о товарах на складе. Вот так. «Русский Дом» оказался домом презрения. Теперь мне ничего не оставалось, как продолжать сидеть напротив этого пустынного стола, разделяющего нас с мадам. Не бросаться же сейчас к двери!

— Кофе?

— Нет, спасибо.

К горлу подкатила тошнота. Мой желудок готов был вывернуться наизнанку. Самое страшное, что мадам Дюренн прочитала это в моих глазах и на побелевшем, наверное, лице.

— Был тяжёлый день, — извинился я.

– Вы никого КОНКРЕТНО здесь не ищете? – спросила она, прищуриваясь. В её глазах, уже начавших благородно угасать, мелькнуло недоверие.

– Я ищу русских... культурный пласт... – пояснил я.

– Пишете диплом?

– Нет. Работаю на себя. А почему вы спросили?..

– Бывает, приходят, ищут родственников...

– Если бы я искал родственников, я так бы сразу вам и сказал.

– Да, – согласилась мадам Дюренн, совершив в уме какие-то вычисления, – к тому же, предупреждаю: **наши** «родственники» бедны, как церковные крысы.

Я кинул на неё удивлённый взгляд.

– Кому они нужны, – пояснила она, широко и приветливо улыбнувшись.

...И вот мы идём по длинному и тёмному коридору. Вдоль серой стены – двери с номерками, как в гостинице. Все двери – по левой стороне. Пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, и вдруг – «КВАРТИРА № 10»! Аккуратным, но корявым шрифтом на маленьком клочке бумаги.

– Нина Ли, актриса немного кино, – весело прокомментировала мадам Дюренн.

При слове «немое-кино» в моём сознании вспыхивают контрастные отпечатки на целлулоидной плёнке: накрашенные дочерна глаза, тюрбаны с перьями, заломленные в порыве страсти белые тонкие руки...

Мадам Дюренн не стала стучать. Просто толкнула дверь «квартиры номер десять».

Комната. Зелёные стены. Справа – узкая кровать. Напротив кровати – коричневый полированный шкаф. У окна – стол. Рядом – кресло. Большой жёлтый, точнее сказать, уставший быть белым, плафон под потолком.

На столе – железная эмалированная кружка и тарелка с нетронутым обедом. Тарелка, как и кружка, металлическая.

«Всё роняет, – догадался я, – наверное, ей уже девяносто три года, как тем почтенным дамам на кладбище. И если подавать ей еду на фарфоре, то посуды не напасёшься. И всё равно почтенные дамы должны до самой смерти кушать с фарфора. Только для этого нужно им проживать не в доме презрения. Презрение и почёт не сочетаются друг с другом».

От стены отделилась серая, почти прозрачная тень, согбенная тощая фигурка в синем. Редкие волосы собраны в два пучка на макушке и перевязаны белыми ленточками – какими там ленточками – просто тряпочками, оторванными от простыни. Странно видеть такое в обществе полного достатка. Двойной узелок – и кончики свисают, хлопая по высохшим бледно-жёлтым щекам. Страусиные перья а ля «Maison de la Russie».

Нина Ли пробирается к столу, берёт тарелку с обедом, и, шурша тапочками, направляется в ванную комнату, к унитазу. Потом замечает, что дверь раскрыта и что в двери стоят.

– Прошу вас, – обращается к ней мадам Дюренн по-французски, – не делайте этого.

Нина Ли, никак не отреагировав на внезапное появление мадам, возвращается в комнату и послушно ставит тарелку на стол.

– К вам мосье из России, – объявляет мадам Дюренн.

– Добрый день, – приветствую я с порога, на „своём“ французском, – как вы теперь имеете себя чуфствовать?

Смотрит на меня внимательно из-под согбенной спины. Видно, только

что заметила, что мадам Дюренн не одна. Затем решительно, хорошо выученной фразой:

– Плохо я себя чувствую! Вот тут болит, вот здесь болит, а здесь ещё больше болит. Хотите чаю?

Подходит ко мне и увлекает меня в комнату. Подводит к стене. На стене – картина в золочёной раме. Нет, не картина. Вновь это напоминает мне памятную доску на мраморе кладбищенского камня. На доске этой – словосочетания на русском, через «Ять», помещённые в столбик.

– Вы из России?... Тогда прочтите мне, что здесь написано, – просит Нина Ли.

– Это фильмы, в которых она снималась, – поясняет мадам с порога, – персонал не читает по-русски, а у самой у неё плохо со зрением, да и с памятью.

Я, конечно, хотел бы сказать, что у меня в мои двадцать с лишним лет со зрением ещё хуже, чем у Нины...

И всё же я начинаю читать. По-русски, естественно. Словосочетания написаны крупно, почти как те самые выдолбленные в камне буквы...

«Непокорённая в неволе»

«Алеющий закат»

«Ранняя разлука»

«Непокорная и полная любви»

«Ребёнок графини»...

Я одолеваю весь список – более двадцати пяти названий, и она слушает его до конца, заворожённая. Правду сказать, я и сам заворожён этими волшебными словами. Когда я дочитываю последнее, «Несостоявшееся венчание», секунду в комнате царит торжественная, гробовая тишина.

– Нет, – бодро заключает Нина Ли, ломая торжественность минуты и мгновенно, автоматически, незаметно для самой себя, после чтения списка, перейдя на русский язык, – нет, ни черта не помню! Вы здесь живёте?

– Нет.

– И давно вы здесь живёте?

«И вот как с ней говорить после этого??? Может, спросить, давно ли **она** здесь живёт?.. Но это неудобно. Можно представить, что услышишь в ответ, если вообще что-то услышишь.

Но ей уже не нужны ответы:

– Обо мне заботятся, потому что я большой мастер, – изрекает Нина, вновь по-русски, торжественно, почти что по слогам.

– Она бредит. Уже выжила из ума, – слышав знакомые ей слова, поясняет с порога мадам Дюренн.

– Нет, она не бредит, – бросаю я в сторону, – она говорит по-русски...

– Мне не нужно, – продолжает Нина Ли с одышкой, переходя с торжественного тона, забравшего у нее остатки сил, на тихий шепот, – моя мама умерла, папа тоже умер... Мама *здесь* умерла. Денег не осталось...

И тихо бормочет себе под нос, очевидно, позабыв о моём присутствии:

– Хорошо... хорошо... очень хорошо...

– Может быть, вы присядете, вам же тяжело стоять, – предлагаю я.

Совсем не глядя на меня, не ощущая меня рядом с собою, она ловит всё же мою руку, прижимает её к груди, к синему халатику.

– Хорошо... очень хорошо... папа... мама...

И вдруг прямо мне в глаза:

– А вам сколько лет?

Отвечаю громко, чтобы расслышала:

– Двадцать с лишним!!!

– О, – восклицает она, не выпуская моей руки, – хорошо... очень...

– Это много, или мало? – пытаюсь уточнить я.

– Много, очень много.

Начинает покачиваться. Видно, что устала. Я помогаю ей усесться в кресло. Кресло поглощает её, она утопает в нём, не выпуская моей руки и увлекая меня за собою так, что мне приходится опуститься на одно колено.

Мадам Дюренн наблюдает за нами с порога.

Нина Ли собирается с силами и вновь поворачивается ко мне, вся озарившись вдруг:

– Вы такой красивый! Боже!

Я вынимаю свою руку из её сухих, шелестящих ладоней.

– Вы такой краси-и-ивый, – продолжает Нина Ли слегка капризным тоном молодой девицы. – Если бы я сейчас была молода, я влюбилась бы в вас... Знаете, что бы я делала? Я бы уха-а-аживала за вами, я бы за вами ходи-и-ила всюду...

И вновь, обессилив от пылкой своей речи, тяжело дышит, пытаюсь поймать мою руку.

Долгая пауза, которая, по всей видимости, не тяготит её вовсе, повисает в воздухе.

– Я оставлю вас, вам нужно отдохнуть, – решаюсь я, наконец, прервать молчание, и вставая с колена.

– Куда вы, – зовёт она, – не уходите!

Я вновь склоняюсь над нею и лгу, теперь не стесняясь своей лжи:

– Обещаю вам, что скоро вернусь.

...Ещё мне очень хотелось задать ей один вопрос... Когда вы умрёте, мадам, где вас похоронят?.. Не на Сан Женевьев де Буа-ли случайно?.. Знаете, я был бы счастлив, если бы со мной такое случилось... Я бы...

Но она обхватывает мою шею руками, целует в лоб, щёки, в губы...

– Не уходите...

– Я вернусь.

– Не уходите!..

– Я вернусь!!!

– Я вижу, вы подыгрываете мне, – произносит она медленно, справляясь с дыханием, – скажите, скажите **ему**, чтобы он мне тоже подыгрывал. Это очень важно! Это необходимо! Мне же здесь одиноко!.. Вы скажете ему?

Я обещал.

Она притянула меня к себе, вновь поцеловала. – Давайте прощаться.

– До свидания, – бросаю я, очутившись у двери.

– А я вспомнила, где встречала вас!

– Где же, – удивляюсь я.

– В Петербурге, на балу у Праксиных... В пятнадцатом году... Вы пели тогда романс... Ночь светла... На вас был чёрный фрак, алмаз на лацкане... помните?..

Лицо её выражало обречённую надежду.

– Вспомнил!!! – неожиданно весело для самого себя восклицаю я. – Вы были в небесно-голубом платье...

Взор её заискрился.

– Да, да, мой милый... в *белом платии*, с розовым бантом!..

...А вот и дедушка ленин!

...Из Буасси я уезжал на рейсовом автобусе, сжимая в окоченевших от холода пальцах записку с ещё одним адресом: «Книжный Дом на улице Фредерик».

«Они торгуют русской литературой, — уверила меня мадам Дюренн, как видно, растроганная тем водевилем, который мы с Ниной Ли для нее сыграли, — там проводят вечера русской музыки. Может быть, ваш „шансон“ придётся им весьма кстати». Последняя фраза была произнесена не без иронии.

Постепенно в меня начали просачиваться растерянность, отчаяние и ужас.

Но растерянность, отчаяние и ужас лишь подхлестнули мой пыл, и, только оказавшись в Париже, я рванул на улицу Фредерик. Было уже пять часов дня.

Улочка Фредерик располагалась в самом центре, в районе Набережной Сены, возле Нотр Дам де Пари.

«Книжный Дом» оказался романтической лавочкой в стиле старых магазинчиков на Бург-ан-Бресс. Всё кругом было заставлено стеллажами с Есениным, Пастернаком, Мариной Цветаевой, Гумилёвым. На одной из витрин я заметил томик Бродского. «Здорово!!! Боже, как здорово! — кричало всё внутри меня, — Как же мне везёт!!! Если их интересует Бродский, значит мои песни тоже заинтересуют!».

Посетители показали мне русскими — и по внешнему виду, и по речи. Во всяком случае, русско-говорящими. Сухощавый бородач обратился ко мне весьма приветливо. «Чиво я жилаю».

— Я в Париже совсем недавно. Я пытаюсь выйти на русскую эмиграцию... Видите ли, так получилось, что меня пригласили, как туриста, в Бордо. Я пел там в одном заведении, и там же мне сказали, что русские в Париже... Что очень интересует... — Я запутался в том, что говорил и смутился.

— Всё это звучит наивно. Эмиграция — это же не большая деревня, как в вашем Бордо. Здесь, в Париже, все разбросаны и разобщены. Эмиграции как таковой, не существует. Все **нормальные** русские уже повымерли, — успокоил меня бородач.

— А **вы** какие русские, — спросил я.

Бородач нахмурился.

— Эй, Константин, — крикнул он в пространство между стеллажами, — к тебе умник. Ищет единомышленников.

Из стеллажей выплыл знакомый до боли с самого детства образ: борода клинышком и кепи, прикрывающее лысину. Я даже отпрянул.

— Только не надо мне говорить, что я похож на дедушку Ленина, — обратился ко мне ленин в кепке, сильно картавя, легко и очень органично избежав церемонии знакомства.

— Меня зовут Певец, — начал я, — мне бы хотелось...

— Знаю, знаю, — прервал меня ленин, — слышал из-за стеллажей, — Пыехали налаживать связи с Русской эмиг-ацией, батенька?..

С этими словами он дружелюбно и вместе с тем фамильярно похлопал меня по плечу.

— Я как бы... — начал я неуверенно...

— Похвально, похвально. И что же вы нам хотите предложить? Какие идеи? Какие, так сказать, лозунги?..

— Я певец. Я ищу возможность исполнить свои песни для русских

эмигрантов, которые ценят и понимают русскую поэзию и культуру, — объяснил я ленину.

— Ах, батенька, у нас здесь столько певцов! Все, присутствующие здесь, певцы, так сказать, певцы йеволюции! — широким жестом он указал на русскоговорящих, тёмными мрачными фигурами столпившихся у стеллажей.

— Мы не успеваем их оценивать, — сообщил он доверительно.

Общаясь со мной, ленин при этом был явно погружён в свои глубокие думы. Было очевидно, что ему не до частных, что нечто большее и глубокое тревожит его ум.

— Я пою Бродского, Мандельштама, Галича, — неуверенно проговорил я, — у меня с собой есть запись на кассете. Хотите послушать?!! Я сегодня целый день в поисках, и, наконец-то, нашёл вас... Есть у вас магнитофон?..

— Я же вам сказал, батенька, — настаивал ленин, — столько певцов у нас здесь, и не пересчитать по пальцам.

Говоря слова эти, он как-то нервно дёргался и переступал с ноги на ногу, словно неотложно хотел... на митинг.

Он постоянно косился на ту самую группу русскоговорящих певцов Революции, собравшихся возле стеллажей.

Русскоговорящие о чём-то жарко спорили. Я услышал фамилию «Бродский».

— Они спорят о Бродском, а я пою Бродского, — привёл я железный довод в свою пользу.

— Хорошо, батенька, давайте вашу кассету, — смягчился ленин, видя моё отчаяние.

— Вот, — я протянул кассету и ленин засунул её в магнитофон, неожиданно возникший из вороха бумаг, и нажал кнопку „Play“. Зазвучала песня «Ночной Полёт».

Те, что стояли у стеллажей, споря о Бродском, даже ухом не повели. Единственный, кто ещё больше посерьёзnel, был ленин в кепке.

— Фёдор, — крикнул он кому-то из спорящих, — иди же скорее сюда!!!

«Вот так-то! — возликовал я. — Иначе бы он не был Вождём Революции!»

«Что на свете, верней, на огромной вельми,

на одной из шести...

Что мне делать ещё, как не хлопать дверьми,

Да ключами трясти...» — неслось из магнитофона.

Подожёл Фёдор.

Я чуть в обморок не упал от волнения.

— Батенька, — обратился Вождь к Фёдору, — тут, видите ли, очень важное дельце...

... У меня и в самом деле остановилось сердце... Началось!!!

— Сейчас Иван Максимович уходит, — продолжал ленин, — узнай у него, в каком ресторане он сегодня ужинает. Если в «Максиме», спроси, заказывать ли мясо по-татарски.

И тут я не выдержал. Бросившись к магнитофону, я в отчаянной ярости ударил по кнопке «Стоп».

Магнитофон никак не отреагировал. Песня продолжала звучать.

Я ударил по кнопке ещё раз.

— Не умеете вы обращаться с техникой, батенька! — ласково сказал мне ленин. Протянув руку к магнитофону, он пощёлкал кнопками в какой-то одному ему известной последовательности, и магнитофон послушно выплюнул моего Бродского.

Я вытащил кассету и убрал ее в карман.

— Сволочи, — громко выкрикнул я в пространство между стеллажами, —

вы спорите о Бродском, Пастернаке, Мандельштаме, и при этом даже не удосужитесь обратить внимание на человека, который проехал к вам через всю Европу с песнями на их стихи!

— Только не нужно утвейждать, что я похож на Владимира Ульянова-Ленина, — весело, как ни в чём не бывало, подмигнул мне кепчатый, поправляя кепку на лысой своей голове и, как видно, вовсе не обидевшись на „сволочей“.

— Совсем не похож! Ни капельки не похож! — закричал я яростно в ответ, — Дедушка Ленин был добрый и справедливый!!!

Тут-то началось такое!!! Фёдор, стоявший возле фальшивого ленина при этих словах чуть не покатился по полу в припадке смеха. Иными словами, у него случилась настоящая истерика. Да и фальшивый ленин корчился теперь в судорогах громогласного хохота, не собираясь особенно печалиться от моих обличительных слов...

— Сволочи, — повторил я, уже стоя у двери.

Певцы Революции повернули ко мне свои ничего не выражающие лица.

— Иван Максимович, — в полной тишине обратился Фёдор к одному из них, — в каком ресторане вы сегодня ужинаете?

А я тем временем выскочил на улицу, с грохотом захлопнув за собою старинную дверь. Я так и не узнал, в каком ресторане ужинает Иван Максимович.

ЧАСТЬ 2

Ни один мужчина не может считаться
по-настоящему счастливым,
пока он не лежит в гробу
(Бальзак, Оноре дэ).

Достоевский и pedalное воротило

Пройдя по набережной Сены, я перешёл через мост Святого Валентина и нырнул в узенькую улочку, кишашую алжирскими и марокканскими лавчонками и их маленькими ресторанчиками. У каждой двери стоял хозяин, зазывая к себе прохожих, искренне радуясь каждому проходящему мимо, будто это был его, по меньшей мере, дальний, но очень желанный родственник. Меня заманить в этот вечер было невозможно. У меня кончились деньги. Поездка на Сан Женевьев и обратно выжала последние сантимы. С щемящей тоской в душе и с урчанием в желудке я подумал в этот момент об Иване Максимовиче, сидящем сейчас, наверное, за столиком, накрытом хрустящей белоснежной скатертью; как тот разрезает острым серебряным ножом мясо по-татарски; и мясо это сочилось кровью в моём воображении, и сверху на куске этого мяса лежал ломтик лимона, и Иван Максимович давил этот ломтик, и выжимал в разрезанный мясной ломоть прозрачный, кисло-сладкий лимонный сок. Картина получилась столь мучительной для моего итак истерзанного голодом и отчаянием организма, что на Рю-де-Сьерр меня повело, и я вынужден был прислониться к цоколю старинного мрачного дома, чтобы не упасть в голодный обморок.

Было шесть вечера.

Закрыв глаза, я попытался изгнать из сознания образ Ивана Максимовича с его непрожаренным мясом. Иван Максимович улетучился сам собою, а вот мясо осталось, и теперь невидимая рука поливала его, уже порезанное на дольки, из фарфоровой соусницы кроваво-красным густым Барбекю.

Придя таки в себя, я отлепился от холодной и влажной стены дома и, пошатываясь, направился вверх по Рю-де-Сьерр. Узкая улочка вывела меня к подножию Мон Мартрского холма, где ступени, ведущие наверх, в тёмную бесконечность, светились голубоватым неоном, а там, наверху, неоновым же заревом в ночи, словно Летучий Голландец, высился среди пены листвы каштанов величественный и, казалось, недсягаемый, собор Сакре-Кёр.

— Где-как-не-там-Где-как-не-там, — колотился в моей голове, совпадая с ударами сердца и шагами по ступенькам, на зойливый ритм. — Где, как не там можно встретить русских... художников, певцов, композиторов...

Денег на подъёмник у меня не было, и на гору я взобрался только к семи вечера. Это означало, что немногочисленные в обычной ситуации ступени подъёма я преодолевал почти час! Последний лестничный пролёт я промахнул на одном дыхании, собрав в кулак остатки мужества, чтобы не закричать от отчаяния. Ноги подкашивались, лицо искажали судороги. Проходящие мимо негры, сверкая в сгущающихся сумерках белками глаз, прокричали мне какое-то приветствие и, помахав руками, весело, по-спортивно, затрусили по ступенькам вниз.

В Сакре Кёр началась вечерняя служба. Голос пастора, усиленный динамиками, торжественно взлетал под высоченный купол. Я представил, как под этими сводами звучал бы мой голос, и кощунственность этой мысли совсем не покорила меня.

У чаши со святой водою я омочил лоб, но лишь для того, чтобы прекратить начинающийся жар.

Выйдя из Сакре Кёр, я спустился на несколько ступеней вниз. Прямо передо мной, там, за голубой в вечернем свете балюстрадой, лежал в тёмном мерцающем мареве Париж. Я поискал растерянным взглядом Эйфелеву Башню и не нашёл её. Без Эйфелевой Башни Париж казался враждебным и неприступно-далёким. Скакать по лестницам туда, вниз, не было никакого желания, и я повернул направо, по тёмной, едва освещённой уличными фонарями мостовой, вымощенной крупным неровным камнем. Пройдя турникет лестницы со светящимся рядом с ним, пахнущим пончиками и кофе тёплым быстро, я миновал какую-то автозаправку (и зачем, кому она здесь нужна?), и двинул дальше вдоль по узенькой улочке, окружённой с двух сторон невысокими домами, выстроившимися вряд сплошной стеною (лишь совсем чёрные, тесные проходы, ведущие, повидимому, во внутренние дворы, отделяли дома друг от друга). Улочка, немного попетляв, выбросила меня — о, чудо! — на небольшую пустынную площадь, по краям которой вновь сплошной стеною тянулись бесконечные рестораны и забегаловки. И из распахнутых дверей первого же ресторана я услышал звуки рояля. „Piano Bar“ — прочитал я на зелёной, покрытой вечерним седым инеем вывеске. Я прошёл внутрь по зелёному же ковровину и присел у крайнего столика.

— Можете вы мне помочь? — обратился я к подошедшему гарсону, — я ищу ресторан...

У того отвалилась челюсть. Более идиотского вопроса от посетителя ресторана он, видно, не ожидал: человек зашёл в ресторан и спрашивает о ресторане!

— Я ищу *русский* ресторан... я ищу своих соотечественников, единомышленников, так сказать, — пояснил я, — вот я и подумал, может быть, вы знаете, где здесь по близости есть русские?..

Теперь гарсон посмотрел на меня вопросительно, как обычно смотрят в таких случаях французы, ожидая материального вознаграждения за ожидаемый мною ответ.

— У меня нет денег, — признался я.

— Подождите минуточку...

Я решил, что он отправился вызывать полицию.

Но через пять минут к моему столику подошёл седой, слегка сгорбленный старик.

— *Воп join, ви русски?* — спросил он меня по-русски, слегка коверкая слова.

— Да, я русский, — ответил я, — добрый день, присаживайтесь. К сожалению, я не могу угостить вас ничем...

— Не волнуйтесь, — успокоил меня старик, — у вас нет деньги, я знал.

Он поймал мой вопросительный взгляд. — Люсьенн мне так сказал. Он меня позвал потому, что я люблю русский культур, — сообщил он.

Чтобы скрыть голодную боль в желудке, я растянул губы в улыбке, слегка съжившись, будто от холода (и от холода тоже), но в основном, чтобы мой новый знакомый не услышал позорного и громкого урчания в моей утробе.

— Та, та, — я читаю по-русски книги, русски литератор, — старик порылся в нагрудном кармане засаленного пиджака и извлёк оттуда столь же потёртую записную книжку с пожелтевшими от времени страницами.

– Я выписывал сюда русски слова!

Он надел на нос очки и продекламировал торжественно и неторопливо, нет, скорее, пропел, словно самую драгоценную и изысканную мелодию:

– Тройка... станция... семафор... ..будка... ямщик... сундук... pedalное воротило...

– А pedalное воротило, это что такое? – поинтересовался я.

– Это по-русски «велосипед», – гордо сообщил он, и вдруг посмотрел на меня недоверчиво: – а вы и вправду русски?..

– Вправду, – ответил я ему.

– Почему вы тогда не знаете pedalное воротило?..

Я смутился, как ему ответить..

– Эти слова тепер вышли из моды, – нашёлся я.

– И семафор?

– И семафор.

– И тройка?

– И тройка.

Старик нахмурился и, как мне показалось, очень расстроился. Решительно, все, кого я в эти дни встречаю, ужасно потом расстраиваются из-за моих опрометчивых слов. Но слова мои не опрометчивы! Они – чистейшая правда... Неправда – то, как они все представляют себе Россию. Ну, какая тройка, какой семафор?!!

Но тут мне стало искренне жаль бедного старика.

– Что же за книги вы читаете, что там есть такие прекрасные слова? – попытался поддержать я его.

– Чехов, Гоголь. Я очень люблю Достоевский. Достоевский – мой бог! – возвышенно-театрально воскликнул он, и в глазах его засветилась искорка неподдельного восторга, которая, впрочем, тут же угасла: – А Достоевский тоже вышел из моды?..

– Разве может бог выйти из моды... – неуверенно произнёс я.

В кафе, где-то там, в его дальней утробе, еле слышно заиграло фортепиано. Старик заметил, что я прислушиваюсь к звукам, доносившимся из той части помещения, которая была не видна отсюда.

– Там играет мой друг, – пояснил он, – хотите послушать?

– Да я, вроде, уже слушаю, – проговорил я.

– Нет, так слушать музыку нельзя, – воскликнул старик, вставая, – мы пойдём-те-с туда, сядем-те поудобнее, будем-те молчать и слушать.

На какой-то момент от этих слов я забыл про свой голод. «Мы будем молчать и слушать музыку» – давно я не слышал таких слов!

Официант принёс два бокала красного вина и два стакана воды.

– Это от меня, – успокоил меня старик, – я хотел выпить с вами за русский культур.

Мы сдвинули бокалы:

– На здоровье.

– За Достоевский, – промолвил старик.

Мы выпили за Достоевского.

– Вас как зовут? – прищурил старик один глаз.

– Chanteur.

Старик посмотрел на меня с недоверием.

– Иногда имя само приходит к человеку, – поспешил пояснить я.

– Звучит не по-русски, – с сомнением проговорил старик, – Очень не по-русски. Я бы сказал, звучит по-нашему, по-французски. Вы не русский. – Произнёс он с утвердительной интонацией. И тут же: – Меня зовут Паскаль.

Я пожал плечами:

— А вы — француз. В этом сомнения нет.
— Люсьенн сказал, что вы прекрасно говорите по-французски — заметил он.

— Это не правда, — вырвалось у меня, и я тут же осознал некорректность своего признания.

— Где вы выучили французский? — не унимался Паскаль, перейдя на свой родной язык.

— В школе. Потом в институте. Я долго готовился... — я поискал нужное французское слово, — долго готовился к **броску**. Как видно, слово это было не из репертуара моего нового знакомого. Ни у Флобера, ни у Достоевского никого никуда не забрасывали. У них все жили, мучаясь всевозможными муками, в муках же и умирали. Я не хочу жить в муках.

— Говорите со мной теперь по-русски, — попросил старик.

— Что же мне сказать?..

— Не что, а как... Говорите так, как говорят в русски литератур!

— Тройка, — выпалил я.

— Этого мало. Это и я могу.

— Знаете что, — оживился я, — хотите, я вам спою?.. Вашему другу это не помешает?

— Конечно, конечно, — спойте «Подмосковские Вечера», если вы русский.

После стакана вина старик заметно повеселел, а я перестал ощущать почву под ногами. С бокалами красного вина в одной руке и воды — в другой, мы перебрались в соседний зал. Здесь, на поломанных колёсиках, прислонённое к стене, на небольшой эстрадке, стояло старинное чёрное фортепиано с канделябрами, свисавшими с крышки, словно поникшие, увядшие ветви осеннего дерева. Играл такой же старикан. Глаза его были воспалены от сигаретного дыма: так как руки были заняты, сигарету он курил, не вынимая изо рта. На верхней крышке фортепиано лежала плоская тарелка с табличкой:

„Pour le pianiste“

В тарелке лежало несколько монет. Посетителей в ресторане не было, за исключением молодой пары в дальнем полутёмном углу. Завидев меня, друг Паскаля оживился: как видно, ему уже тоже рассказали, что в ресторан забрёл безденежный русский. Из-под его пальцев полилась мелодия «Подмосковных вечеров». Я совсем не так всё это себе представлял — со своим пением, но, из уважения, пришлось, как мог, подпеть.

Заслышав русскую речь, Паскаль почему-то загрустил, а парочка удивлённо взглянула на меня из своего полутёмного укромного уголка.

— Трудно что-то сказать, — проговорил мой новый знакомый задумчиво, после того, как мы с его другом осилили песню, с горем пополам дойдя до финального аккорда.

— В каком смысле? — не понял я.

— Русский вы, или чех... А, может быть, поляк?..

И тут же неожиданно резко:

— Пойдёмте, я вас провожу.

Ошеломлённый такой реакцией на моё пение, я послушно поплёлся за стариком к выходу. Друг его махнул мне на прощание рукой: «О' дэ» — До скорого! Вновь сирарета задымила в его губах.

— Я вам вот что скажу, Chanteur, — начал Паскаль торопливо, когда мы вышли на улицу к светящимся над входом огням зелёной заиндевевшей вывески. — Вы, ведь, не русских пришли сюда искать, не так ли?..

Он посмотрел на меня строго и осуждающе. — Вы пришли искать работу. **Вы не русский! Вы — певец!** Вы пришли отобрать у нас нашу работу!!!

Как он меня раскусил!!! От неожиданности я чуть не сел на землю. Колени дрожали, ноги подкашивались. От нового приступа голода закружилась голова.

— Так вот что, — продолжал старик, — проваливайте отсюда, пока я не сказал Люсьену, и тот не вмазал вам хороших оплеух. Это **наше** место. С вашей стороны просто мерзко приходиться к старикам и пытаться отбирать у них кусок хлеба! А я ещё говорил с вами о Достоевском! Да вы и слыхом не слыхивали, кто это такой. Отправляйтесь в свою Польшу и торгуйтесь там с Папой Римским!

Окончательно сбитый с толку такой длинной тирадой, вовсе не понимая, при чём здесь Папа Римский, я попятился прочь от освещённого подъезда ресторана.

Я кусаю мадам.

Площадь была пуста.

„Плас дё Тартр“ — прочитал я на небольшой вывеске. И тут, на этой самой Плас дё Тартр, я услышал Эдит Пиаф. Её голос звучал не в записи, я в этом мог поклясться! Он вылетал из кафе, расположенного здесь же, на площади, но в отличие от остальных заведений, более похожего на избу. Вывеска над избой утверждала обратное. «Royale d'Or» — гласила она. Голос проникал через широкие окна, прикрытые деревянными ставнями — нехитрый способ привлечь посетителя, давая ему песню, как затравку и не показывая, что же происходит внутри. А внутри тем временем пела живая женщина!!!

Голос только что отзвучал, и внутри помещения раздались аплодисменты и крики «Браво».

Я стоял, голодный, лишённый сил и ошеломлённый этим неожиданным перенесением во времени. Я стоял, а там, за деревянными ставнями, крашенными в тёмное бордо, пела Эдит Пиаф.

Поднявшись по старинным, слегка покатым ступенькам на крыльцо, я с трудом отвалил массивную деревянную дверь халупы, что звалась «Royale d'Or» и очутился в некоем подобии тамбура. Дверь отчаянно закричала и захлопнулась за моей спиной с чудовищным грохотом. Из дверного проёма, занавешенного тяжелой гобеленовой шторой, чтобы и отсюда не было видно происходящего внутри, меня новой волною окатил голос Пиаф. Тут же раздался ещё один звук, словно из закипающего котла выпустили пар: «Тш-ш-ш-ш!!!» Пиаф между тем продолжала мощно петь. Я понимал, что схожу с ума, но видение моего безумия было настолько реально, что я не мог, не решался — ни разрушить его криками «помогите», ни броситься бежать вон, если только от безумия вообще возможно убежать. Я стоял, обессиленный и не понимающий ничего, пока в моё сознание холодным штопором не ввинтился голос:

— *Monsieur, si vous êtes venus pour le concert, se dépêchez!** (*Господин, если вы пришли на концерт, то поспешите.)

Я оглянулся на голос, чуть не свернув себе шею. Справа от меня

находился конторский столик, освещённый стоящей на нём настольной лампой на гнущейся ножке с допотопным чёрным колпаком, прикрывающим лампочку. Вокруг царил полумрак.

Из тамбура можно было попасть в два помещения: в кафе и в зал для пения. Помещение кафе находилось прямо передо мною ещё за одной дверью, ничем не занавешенной. Виден был край стойки бара и несколько одиноких, попивающих вино. Туда можно было пройти свободно. Вход же к Пиаф охраняла дама-цербер, сидящая за тем самым конторским столиком. Итак, «Bla-bla-bla-bla-bla-bla-» — сказала она, просверлив мне мозг тонкой иглою, несмотря на то, что пыталась при этом шептать, оглядываясь на портьера, за которой аплодировали Пиаф.

Я понял, что она недовольна тем, что я вошёл. Я понял, что я им здесь мешаю. Я понял, что не вписываюсь в их интерьер. Весь французский мгновенно вылетел у меня из головы. Со мной так случается, если меня очень сильно расстроить.

Откашлявшись, я заговорил. И от волнения заговорил, конечно, по-русски:

— Я знаю, что сошёл с ума, но это не в первый раз со мною... пото...

Большого мне сказать не удалось. Дама-цербер встрепенулась, зашипела, замахала руками, перегнувшись через стойку и зажала мне ладонью рот.

И тут из-за портьера, из мёртвой тишины зала вновь полился голос Пиаф. От того, что мне не дали договорить, что мне вот так, вульгарно, как школьнику, зажимают рот; от того, что Пиаф поёт там, в моём кошмаре, а я стою здесь, никому ненужный; от удивления, в конце концов, что со мной происходит такое в первый раз в жизни, рот мой открылся... пальцы мадам, пахнущие духами, с лёгким привкусом крема, проскользнули в него, и тут... я невольно, но крепко, словно озлобленная на весь свет собачонка, стиснул зубы.

Лицо мадам побелело. Она вырвала свою руку из моего рта, с надеждой и болью во взоре глянула на тяжёлую портьера, отделяющую нас от Пиаф, затем рот её раскрылся, и из него вырвался... БЕЗМОЛВНЫЙ КРИК! «Когда поёт Эдит Пиаф, все другие звуки запрещены» — читалось в её широко раскрытых глазах. Ещё в её глазах читалось, что как только прервётся этот мощный, безмолвный крик боли, первое, что сделает мадам — вызовет полицию. «Алло, полиция? Во время концерта Эдит Пиаф меня покусал сумасшедший, ворвавшийся с улицы».

Я бросился было бежать, но, вспомнив, с каким скрипом и грохотом открылась чёртова дверь, впустившая меня сюда, опустил в отчаянии на пол. «Когда поёт Эдит Пиаф, все другие звуки запрещены».

Мне показалось, что укушенная уловила ход моих мыслей. Во взгляде её засветилась благодарность. Для верности она поднесла побелевший палец к губам — крест-накрест.

Лицо моё беспомощно искажилось:

— Я не хотел, — зашептал я, — пардон! Прошу прощения, пардон! Сори, я каюсь!!!

Словно ответ на моё раскаяние, в уши мне ударил гром аплодисментов. Мадам будто только и ждала этого момента. Подскочив ко мне, она схватила меня за ладьяны и принялась осыпать французской, мелодичной, сексуально возбуждающей, приятной уху бранью.

— Я не виноват, — залепетал я в ответ вновь по-русски, — я хотел просто послушать ЭДИТ ПИА-А-АФ!!!

Мой лепет возымел, как видно, своё действие. Хватка мадам ослабла. Чуть отстранившись, она вытянула вперёд руку, показывая её мне, прижала ладонь

другой руки к груди и, как видно, решив перейти на пантомиму, изобразила страдальческую гримасу. «Вы очень больно кусаетесь» А потом:

– Êtes vous de la Russie?* (*Вы из России?..)

– Non, – буркнул я, не решаясь говорить в голос, – Же суи Parisien, же вё экутэ Пиа Ф-Ф-Ф!* (*Нет, я парижанин. Я хочу послушать Пиаф)

При звуке этого имени мадам улыбнулась.

– Не пытайтесь сбить меня с толку! Вы – русский, и у вас, конечно, нет денег! – проговорила она, разумеется, на чистом французском.

– Пиаф, – прошептал я, на этот раз по-французски, – я только хотел послушать Пиаф...

Аплодисменты тем временем начали стихать.

– Идите сюда, – поманила меня мадам раненой рукою, – Вот! – отодвинув тяжёлую портьеру, она указала на свободный столик тут же, за портьерой. – Это мой личный... можете сюда сесть...

И тут я увидел, вернее, не увидел, а, скорее, почувствовал Чудо: в глубине тёмного зала тонкий луч прожектора выхватывал фигуру довольно упитанной дамы, нисколько не похожей на Эдит... Но сходство или несходство с Пиаф в этот момент померкло перед другим чудом: чудовищных размеров очки украшали лицо певицы!!! Аккордеонист, скрытый от взоров тёмной, полупрозрачной марлей, натянутой в глубине сцены, взял несколько аккордов, и мир погрузился в полную тишину – ту самую тишину, из которой только и может родиться настоящая музыка. Только французы способны создавать такую тишину, которая после бурных, оглушительных аплодисментов набрасывается на вас, словно лавина. Порой создаётся ощущение, что в этой тишине сами тела слушающих покрываются скрипичным лаком, дабы не поглощать напрасно звук, и голос... голос летит, ничем не стеснённый, независимо от количества людей, заполнивших помещение.

Я едва успел приблизиться к столику и отодвинуть стул, как наступила такая вот тишина.

Там, за полупрозрачным задником, за которым скрывался аккордеонист, я увидел очертания рояля. Боже! Всё на свете я готов был отдать в тот момент за право сыграть и спеть в этом волшебном зале, на этой полутёмной, сказочной сцене!!!

Певица тем временем запела. Божественные учительские очки совсем не случайно украшали её лик: в самый разгар своего страстного пения, когда решалась дилемма „быть любви, или не быть“, певица обращалась за советом к небольшому изящному талмуду – справочнику, который был установлен в некотором отдалении от неё (поэтому, как видно, и очки), на деревянном трёхногом пюпитре, напоминающем мольберт. Сторонясь пюпитра, дабы не разрушать образ одинокой звезды, сгорающей в пламени любви в синем небе Парижа, певица всё же постоянно вступала с ним (с пюпитром, не с Парижем) в контакт, ничтоже сумняшеся поправляя сползающие на кончик носа очки. Очки! Очки! ОЧКИ!!! – То, чего я так боялся всю свою жизнь! Предмет, который я столь ненавидел!.. И вдруг... Пиаф, зритель, аплодисменты, крики „браво“, и очки!!!

Голова моя кружилась от слабости, голода и выпитого со стариком Паскалем вина... кающаяся Магдалина, черпающая вдохновение в талмуде, продолжала петь голосом Пиаф... я оглядел зрителей. Никто не хохотал над её очками, но почти все сидели, смежив веки. Что?.. им мешает образ школьной учительницы химии, созданный голосистой последовательницей маленького Парижского Воробушка, или они так божественно слушают?.. Ещё никогда в жизни я не видел, чтобы так слушали пение.

Я тоже закрыл глаза. «Я в Париже», — сообщил я сам себе, — «Я в Париже, на концерте Эдит Пиаф. У меня куча денег, квартира в самом центре, и каждый вечер я выхожу на престижную сцену Мулен Руж со своими песнями...»

И тут произошло то, что явно было неправильно, но очень логично для человека в моём положении. Продолжая вот так самому себе вешать лапшу на уши про собственное богатство и Париж, я, сам того не заметив, уснул.

Мадам Дамья

— Réveilles-vous, jeune homme, le concert est finie!* (*Просыпайтесь, молодой человек, концерт закончился“.)

... Она сидела за моим столиком, укушенная мною дама. Перед нею стоял стакан белого вина.

— А вы отлично провели время, — обратилась она скорее сама к себе, — укусить даму, ради того, чтобы попасть на концерт, а потом уснуть во время пения мёртвым сном!

И уже совсем отстранённо:

— ...А, может быть, ему нравится спать под музыку...

Тем временем я потихоньку приходил в себя. Французские слова, а главное — мысли выстроились в моей голове в состояние боевой готовности.

— Je cherche le travaille, я ищу работу, — проговорил я, и далее из моей глотки полилось, словно из рога изобилия...

— Мадам, прошу вас, — взмолился я на почти полноценном французском, — не разрушайте моей надежды! Это ваше заведение... здесь ценят песню!

Во-первых, она удивилась. Это было видно по её лицу. Удивилась и отпрянула даже, когда забредший к ней русский заговорил на французском языке. Затем в её испуганных глазах зажглась искорка неподдельного интереса. Французы очень ценят свой собственный язык. Они в восторге от него. Но ещё в большем восторге они бывают, когда их язык ценят иностранцы.

Итак, в глазах дамы вспыхнул неподдельный интерес.

— Дамья, — произнесла она и, видя, что я не понял, добавила: — Меня зовут мадам Дамья.

— Певец! — отрапортовал я.

— Вы говорите по-французски?

— Я уже почти полгода во Франции, и теперь моя гостевая виза заканчивается. Осталось ещё несколько дней, — соврал я. — А я не хочу возвращаться назад, я хочу остаться здесь, — добавил я истинную правду. — Для этого мне нужно найти работу, мадам! Мадам Дамья! Если я найду работу, меня пригласят по рабочей визе. Такую визу я смогу получить в русском консульстве в Париже: мне даже не придётся никуда выезжать...

Как видно, мадам Дамья ничего не поняла из моих слов, кроме того, что мне нравится во Франции.

— Вам нравится Франция? — улыбнулась она.

— Да, очень нравится!

— Вы любите Пиаф?

– Хорошая женщина! Такая же добрая и необыкновенная, как вы!!!

Было видно, что моя собеседница польщена.

– Voulez vous de vin?* (*Хотите вина?)

– Да, хочу! Я просто умираю от жажды!

Она встала и сама принесла стакан белого вина.

– ...И вы ищете у нас работу...

Я закивал головой так, что стакан, только что поднесённый к губам, затрясся в руках и капельки влаги упали на старинную, кое где ободранную полировку столика.

– Но у нас уже укомплектован штат... к тому же, в основном всё делаю я сама: я и менеджер, и продавец билетов... – она раскрыла небольшую сумочку, что держала до сих пор в руках, и вытащила на стол несколько розовых листочков, символизировавших, очевидно, входные билеты. Что-то милое и наивное было в этих кусочках бумаги: таких кусочков, сидя в туалете, я мог бы не спеша нарезать целую кипу, сами знаете из чего.

– Место уборщика тоже занято, – продолжала мадам Дамья.

– Нет, воскликнул я, – вы меня неправильно поняли, я хочу петь! Я хочу выступать...

Я попытался вспомнить, как называется это её кабаре, но не вспомнил.

– ...выступить у вас в вашем... заведении!!!

Тут-то наступила и в самом деле гробовая тишина. Своим заявлением я, кажется, сразил мадам больше, чем укусом. Слышно было только, как – словно в подтверждение того, что место уборщика уже занято – где-то за сценой водили по полу половой щёткой. Время от времени щётка ударялась о плинтус, издавая характерный тоскливый звук под названием «Все разошлись по домам».

– Вы, наверное, шутите?!? Вы хотите петь в «Royale d’Or»???

«Боже мой! Всё понятно!! Какой певец!!! Ей и в голову этого прийти не могло!» – завопило всё во мне.

Но, вопреки внутреннему голосу, я на удивление достойно и твёрдо повторил:

– Да, я хочу петь! Я хочу выступать у вас в вашем заведении «Royale d’Or».

И тут дама воскликнула:

– Но для того, чтобы петь, нужно иметь голос! Для того, чтобы петь, молодой человек, нужно иметь такой голос, какого нет ни у одного из тех, кто вас будет слушать, и ни у кого из тех, на кого они планируют пойти завтра!!!

Как странно... всего лишь месяц назад, в Бордо, я получил иную отповедь на этот счёт. Говорила такая же хозяйка маленького театрала в самом центре Ситэ: «Необычный голос?.. Простите, но это не сближает с публикой. Для того, чтобы петь, нужно иметь такой же голос, как и у того, кто сидит перед вами в первом ряду. Нужно петь так, чтобы у него возникло желание поднять бокал вина, и замахать им в воздухе, подпевая вам».

– У меня **есть** голос, – почти закричал я, – у меня есть, есть!!!

Вскочив со своего стула, я бросился к сцене. Всё, что мне теперь нужно – это успеть добежать до рояля. Если я успею, и меня не остановят, я смогу спеть песню до конца. Когда зазвучат первые фразы, остановить меня не смогут. Не посмеют. Рука не поднимется. Почему я был в этом уверен? – Не знаю. Прежде со мной всегда было так: люди могли спорить, шуметь, но как только начинала звучать музыка, все умолкали. Не так, как здесь, на Монмартре, но всё равно умолкали.

Один лишь раз в жизни закон невозможности прервать песню был

нарушен. Это было в дни моих скитаний по провинциям... в кафе Бель Вю, в Кассисе. Я не рассказывал вам про это?.. Мне повезло найти работу в этом самом кафе, расположенном на самом берегу залива. Кафе называлось, как я уже сказал, «Бель Вю»*. (*Прекрасный вид.) Название своё кафе полностью оправдывало: вид, открывающийся с террасы, на которой сидела публика, был просто божественный: богатые яхты у причала, голубизна водной глади, черепичные крыши пряничных домиков на той стороне залива, где центр города...

За каждое выступление раз в неделю хозяин предложил мне 800 франков — огромная сумма набегала бы за месяц — сумма, которой хватило бы оплатить квартиру и при этом безбедно жить. В тот вечер моё первое выступление подходило к концу. Публика была довольна. Хозяин, казалось, тоже. К восьми часам он решил, как видно, удивить меня, подав тут же, к месту, где стояло моё электронное пианино, огромный поднос с ужином. И тут случилось невероятное... я пел одну из последних песен «на Бис». Голос, усиленный динамиками, лился легко, свободно. И вдруг — полная тишина. Песня оборвалась, так и не допета: «заботливый» хозяин выдернул вилку из штепсельной розетки, от которой питался усилитель с микрофоном и новейшей модели „Moog“ — генератор фортепианного звука. Песня оборвалась, а хозяин приближался ко мне, с возгласом: «Хватит пения, пора ужинать!!!» Посетители кафе впали в шок. То, что случилось со мной, просто не поддаётся никакому описанию. Я, наверное, просто ничего не понял; я только услышал голос приближающегося ко мне хозяина с подносом в руке, и свист из публики.

И тогда, встав из-за чёрного ящика клавира, я громко сообщил, что отказываюсь от дармового ужина, поданного мне, как подачку, отказываюсь и от пения в таком заведении, где могут прервать песню, где не уважают ни исполнителя, ни публику.

Владелец кафе „Бель Вю“ не растерялся.

— «Вонь», — громогласно прокричал он, — найди другое такое место, где тебе будут платить по 800 франков за выход!

Публика засвистела в знак неодобрения. А я принялся собирать тексты своих песен, разбросанные по клавиру. Мне закричали: «Пой, Певец! Пой для нас! Не обращай на хама внимания!» После этого я уж точно не смог бы запеть. Слёзы навернулись мне на глаза. Знаете, почему?.. — Впервые в моей жизни французы поддержали не своего соотечественника, а иностранца. Они кричали мне «Браво», и под эти крики «Браво» я и прошёл с кипой текстов в руке, натываясь на столики, ладонью другой руки прикрывая лицо, по которому катились слёзы. Я знал, что лишился работы, что нечем будет платить за жильё, но в этот миг на такие мелочи было плевать. Я верил в одно: если я уйду сейчас, гордо подняв голову, никогда больше у этого человека не появится желания прервать кого-то во время пения. Я отстаивал не свои интересы — я боролся не за себя: я боролся за Песню. За право Песни звучать до конца. Я боролся за право именоваться гордо: ПЕВЕЦ.

Потом мне рассказали, что после моего ухода почти вся публика в знак протеста разошлась из кафе „Бель Вю“. Ещё позже ко мне прислали человека с конвертом: «Ваш гонорар за тот вечер». Я не взял денег. А ещё через несколько дней я проходил мимо кафе на набережной, даже не бросив в его сторону взгляда. Пройдя по променаду, я очутился у пристани, повернулся к воде, достал пачку Мальборо, закурил и подумал: «Зря, наверное, я тогда так поступил! Нужно было, наверное, продолжать петь, как ни в чём не бывало...» И тут на плечо мне легла рука.

— Здравствуйте, вы Певец?

— Да

— Я вас сразу узнала. Я жена Прэво, хозяйина „Бель Вю“. Мы увидели вас, когда вы проходили мимо, вот и я догнала вас... Меня попросил мосье... сам он не решился... Он очень извиняется... за тот вечер... помните?..

Нет. Простите, не помню, — ответил я.

...Итак, я рванул к роялю, что скрывался за чёрной марлею, превращаясь в неясный призрак. Мадам Дамья так и осталась сидеть за столиком. Она явно не ожидала от меня столь стремительного манёвра и прыти. Споткнувшись сослепу о приступку, я растянулся на крашенных чёрным лаком досках сцены, вновь вскочил на ноги, чуть не запутался в марле, словно рыба в сети рыбака, добрался, наконец, до рояля, откинул крышку и запел, едва успев коснуться клавиш.

...Когда песня отзвучала, когда смолкли последние аккорды, мадам Дамья подошла к рампе. Она казалась такой маленькой отсюда, со сцены... и от неё сейчас зависела моя судьба.

— И много вы поёте таких песен... на французском языке?..

— Много, много, — заговорил я с жаром, — если будет нужно, я выдержу час, два...

Мадам Дамья постаралась подавить улыбку:

— Ну, о целом концерте говорить, наверное, пока рано... У вас и в самом деле прекрасный голос, но вот язык... Chante vous les couplets comiques ?* (*Вы поёте комические куплеты?)

— Почему? За чем?..

— Вот именно. Но от вашего пения по-французски хочется хохотать.

Брови мои полезли на лоб от удивления.

— Несоответствие, понимаете, мосье Певец... голос глубокий, трагический, а когда вы произносите слова... хочется предложить вам веселить публику.

— Что же делать? — воскликнул я. Я и в самом деле был растерян.

— Сделаем так, молодой человек... кстати, á vous est, où coucher?* (*У вас есть, где ночевать?)

— Есть, — соврал я, не понимая намерений своей собеседницы.

— И вы ещё никуда больше не обращались?..

— А куда мне нужно было обращаться? — не понял я.

— Много есть мест... — уклончиво ответила мадам, — много есть мест, где исполняют комические куплеты... А русские... русские песни вас не интересуют?..

Я пожал плечами:

— Меня интересует всё. Только вот мои соотечественники, кажется, не заинтересовались мной... И я рассказал о моём путешествии на Сан Женеьев Де Буа, о Русском Доме, который оказался домом презрения, о Нине Ли, доброй, но совсем выжившей из ума женщине, о русском книжном магазине, где говорили о Бродском, но даже не захотели послушать моих песен на его стихи...

— Наверное, мне не повезло на русских, — печально произнёс я, и добавил более восторженно и абсолютно искренне: — Зато мне, кажется, повезло с вами!

— Да, да... конечно...

Вдруг она показалась мне растерянной.

— Иными словами, — заключила она, собравшись с мыслями, — у вас в Париже никого нет, и вы здесь никого не знаете...

— Кроме вас, — вставил я.

— Кроме меня, — повторила мадам Дамья, вновь будто бы впад в прострацию, — кроме меня...

Она посмотрела на большие, почти мужские наручные часы, украшавшие ей запястье.

— Так вот. Приходите ко мне послезавтра. Примерно в это же время. Если придёте раньше, слушаете концерт. Это иногда бывает полезно. А после мы хором почитаем и подправим с вами стихи. Те, что вы поёте таким прекрасным тембром.

— И ещё, — голос её вновь обрёл уверенность и твёрдость, словно только что она на что-то решилась (Я догадывался, на что). Она вновь раскрыла свою чёрную сумку-портмоне: — Вот вам, за ваши «комические куплеты».

На полированную, с царапинами, крышку стола легли сто франков.

В этот момент я понял, что победил. Судьба как всегда повернулась ко мне лицом.

**Ресторан „Лагутин“.
13 сентября 1985 года.
Пятница.**

Смертельно усталый, но полный вдохновения и сил, а главное — со ста франками в зажатом кулаке, я спускался по крутым рассветным улочкам Мон Мартра. Я не знал, какой сегодня день, но на сегодня назначил себе воскресенье. Это был простой расчет: я не буду больше дёргаться, словно пойманная в силки птица. Если сегодня или завтра я начну что-то искать (при условии, что вообще доживу до завтра), то потеряю мадам Дамью и «Royale d'Or».

«Сегодня ночью я буду гулять по Парижу, — решил я, — но первым делом я найду какое-нибудь кафе, куплю пива с сосиской и просижу в тепле столько, сколько будет возможно. Иными словами, пока меня не «выметут». Потом же я найду где-нибудь в Булонском Лесу скамейку, и усну. Если я успею проснуться до пяти утра, то, весьма вероятно, обойдусь завтра без визита в полицейский участок»*. (*В пять утра в Париже начинается патрулирование полиция споняет бомжей со скамеек в парках и других общественных местах. До пяти спать на скамейках и в подворотнях домов негласно разрешено.)

...Как только казавшаяся полуразвалившейся скрипучая дверь, которой Дамья так гордилась и которой боялась, захлопнулась, встав на место в ультрасовременные пазы, замаскированные ободранной «под старину» краской, женщина потянулась к телефонной трубке.

— Леметр? — голос её звучал спокойно и уверенно, — кажется, у меня для тебя кое-что есть... Chanteur, тебе ни о чем не говорит это словечко?.. Нет, нет, это понятно... Но если ты так отвечаешь, значит, ровным счётом ничего не знаешь...

Выдержав небольшую паузу, она продолжала:

— Короче, Леметр, сбылась твоя мечта...

Дальше она говорила в трубку, отвечая на какие-то вопросы того самого Леметра:

— Где же я теперь его найду... он ушёл... И что бы я сказала при нём?... что

предлагаю тебе небольшую сделку?!! ...Нет, но он точно придёт... вернётся... Обещаю тебе, что не упусти... Ты сам не упусти... Записывай, Мэтр... Предположительно, он зайдёт завтра... я почти в этом уверена. Но то, что я могу сказать тебе наверняка — в следующее воскресенье я делаю его выступление... Риск? Поверь мне, Леметр, тут не будет никакого риска. Я же сказала: сбылась твоя мечта. А, может быть, мечта наших туристов. Давно пора было удивить их чем-то таким... И со вздохом: — Дожить бы до летнего сезона!

Она сказала так, и при этом пальцы её, сжимавшие выдавший виды карандаш, мелко дрожали... наверное, от чрезмерного количества чёрного кофе и красного вина. Затем она, повертев карандаш в руке, и, видимо, на что-то решившись, проговорила в трубку:

— Вообще-то, я сделала запись, Леметр. Я сделала его запись, пока он пел, но... это будет тебе стоить немного дороже...

Леметр что-то закричал в трубку, и мадам Дамье пришлось немного отстранить её от уха.

— Сейчас?!! Во-первых, не надо так кричать, а во-вторых, эта запись с этим мальчиком будут стоить тебе... пятьсот тысяч франков!

На той стороне трубки воцарилась тишина, а затем Мадам Дамья тихо проговорила:

— В таком случае, я жду.

Я бродил — бродил, куда глаза глядят, коротая время, опьянённый своей победой, пока к трём часам не вышел к «Мулен Руж». Неоновая мельница уже не светилась. Небольшие ночные кабаки тоже начали закрываться. Лишь на бульваре Клиши тёмным фиолетом мерцали недвусмысленные вывески, приглашающие поразвлечься: посмотреть „BLUE VIDEO“, а, может быть даже, кого-то потрогать.

Я прошёлся по Клиши — сначала по левой стороне, потом вниз — по правой и завернул в безобидную, судя по гулу голосов внутри, пивнушку, где мне подали огромную кружку пива за сорок франков (ночная наценка).

По обеим сторонам от стойки мерцали два монитора, на которых время от времени появлялось нечто, напоминающее софт-порно. Над стойкой бара светилась табличка:

„TOUT LES SOURS DE 21-h A L'AUBE“

Это меня устраивало. *Каждый вечер с 21 часа до рассвета, — гласила табличка. Если пить пиво очень медленно, отвлекаясь то на левый, то на правый экран, рассматривая публику (ненавязчиво, конечно: французы очень тяжело переживают, когда кто-то против их воли вторгается в их личную сферу; они становятся при этом очень агрессивны), то можно дотянуть до утра. А там — посмотрим. Если выгонят — пойду на скамейку в парк, как и планировал.

К кассовому аппарату была прикреплена ещё одна табличка:

„PAS DE CREDIT“

В кредит не отпускаем. Такие таблички висят во многих барах. Пощады нет никому, даже постоянным клиентам.

Я расплатился за пиво, перекинул ремешок сумки через шею и запрягал оставшиеся деньги в нагрудный карман куртки, чтобы вовсе не остаться без гроша, если усну.

Но я не уснул. Был момент, когда я на мгновение забылся... я сидел на

изящном вращающемся табурете, приставленном к роскошному, из прозрачного пластика, роялю, на высокой круглой сцене. Кругом — МОЯ(!) публика. За широкими стёклами — таких нет в «Royale d'Or», — Париж. И я пою.

«Этот мотив... сотни музыкантов пели его прежде... а вот сегодня пою я. Он спасает меня, спасает от одиночества. Но постойте, так ли я одинок? — так ли я одинок, если у меня есть ВЫ — мои тени, тени, лиц которых я часто не могу различить, но знаю: они ловят звуки моего голоса, они так же, как и я, страдают от одиночества, и они аплодируют мне. Аплодируют за то, что на какой-то миг мы разорвали эту призрачную пелену, окутывающую нас и зовущуюся одиночеством... на какое-то мгновение мы стали одним целым. Благодаря этому мотиву, который стучит, стучит в груди, как деревянное сердце!»

...В ужасе я очнулся. Кружка пива была выпита наполовину. Машинально я сунул ладонь в нагрудный карман куртки. Как ни странно, я даже не удивился, что мои последние пятьдесят франков исчезли: не стал кричать, звать на помощь, или закатывать скандал... Кому?.. Даже самому себе я решил не закатывать скандалов. Ну что поделать! Уснул. Вот так я засыпаю, что пушкой не разбудишь. Сам виноват. Нет, никто не виноват. Просто так получилось. Так получилось, что меня обчистили. В Париже это обычный номер — как ступить подошвой в собачье дерьмо; как быть сбитым одним из этих сумасшедших мотоциклистов, которые думают, что у всех вокруг, как и у них, такие же прекрасные зрение и реакция. Так что, — Вау-ля, я в Париже!!!

Успокоив самого себя таким образом, я допил пиво, сгрёб в охапку свою дорожную сумку, проверив, не исчез ли вдобавок мой паспорт, абстрактно попрощался со стойкой бара и вышел в холодное утро.

Образ Бульвара Вольтер с его одноимённым отелем и широченной кроватью возник с шизофренической настойчивостью.

В кафе с возлежащим у окна Крепо тянуло, словно на Родину. Одновременно появилось чувство, будто бы я знаю, как нужно действовать дальше...

...Дверь быстро откроется, впустив меня в пахнущее кофе, свежим тестом и парфюмом нутро. Крепо поднимет свою большую голову, поприветствовав меня взмахами своего пушистого хвоста. «Давно не виделись» — скажут его глаза.

— Как было в Центре Русской Культуры?.. — обратится ко мне хозяйка с интонацией, от которой тут же станет тепло на душе. Сомнения, если они у меня в тот момент и будут, тут же развеются.

— С русской культурой придётся повременить, — отвечу я ей полушутя — полусерьёзно, — может быть, пока у вас найдётся место мойщика посу...

— Нет! — оборвал я сам себя. — Эти сказочки оставьте для розовых нравоучительных романов, в которых старлетки, превратившись в Звёзды Шантанов, став таковыми, оказываются нетронутыми девственницами, а трудолюбивые мальчишки из провинции работают посудомойщиками, копя доллар за долларом, шаг за шагом, день за днем превращаясь в миллионеров. Эти сказочки не для меня. Я не пойду мыть посуду. В реальной жизни мойщики посуды остаются мойщиками посуды навсегда.

Если я и в самом деле Певец, я должен петь. Мыть посуду для меня теперь — слишком большая роскошь. Непозволительная роскошь.

Чудная особенность Парижа заключается в том, что окончательно засыпает он лишь на час-полтора. Когда в одних кварталах ночные бары закрываются с наступлением рассвета, тут же в других открываются утренние

кафе. На площади Д'Иенна я свернул налево на довольно широкую улицу, привлекающую меня гастрономическими вывесками. Денег теперь нет, это ясно; зато можно полюбоваться на всякие там вкусности в витринах... Можно так же попеть на улицах, но это не так-то просто, как многие полагают. Дело в том, что для того, чтобы петь на улицах Парижа, нужно обратиться в ближайший Комиссариат Полиции, где вам выпишут квиток, с „программой“: на каких улицах, по сколько минут и с какими интервалами ты волен заниматься своим ремеслом. Но в первую очередь, они проверят ваш паспорт... короче, с этим всё понятно. Замкнутый круг.

Так что я просто брёл по широкой улице, наслаждаясь гастрономическими вывесками и видом товаров, которые частные торговцы уже начали раскладывать за чисто вымытыми стёклами витрин.

Говорят, при перечислении всяких деликатесов и блюд, можно утолить голод. Я попробовал. Врут, можете мне поверить. От вида заливной рыбы с красиво нарезанными кружками варёной морковки, мне страстно захотелось домой, к маме; а когда за одной из витрин я увидел копчёного угря — жирного, прямо-таки лоснящегося, переливающегося от жира всеми цветами радуги, голова моя закружилась, и я уткнулся лбом в ту самую витрину, моля Бога не дать мне упасть на этой красивой и широкой улице в голодный обморок, на виду у всех прохожих. Во-первых, это просто неприлично — падать; а во-вторых, если ты упал, первым делом вокруг тебя соберётся толпа, а потом кто-то самый бдительный и добрый, из тех, что будут смотреть картину твоего падения из окна своей уютной квартирки, вызовет скорую. А где скорая, там для таких, как я, и полиция...

...Я очнулся от стука... странного, глухого стука, словно стучался ко мне Ангел из потустороннего мира. Когда я открыл глаза, лицо Ангела в самом деле маячило тут же, передо мной неясным, полублачным образом.

Ангел взмахнул рукою.

«Призывает» — понял я, ещё не совсем очнувшись. И в тот же момент шум улицы ударил мне в барабанные перепонки торжественным симфоническим оркестром, а Ангел, размытый и весь в Облаках, превратился в хозяина того самого жирного и лоснящегося угря, что чуть не довёл меня до истерики.

Как и Ангел минуту назад, хозяин тоже махал рукою, повидимому, призывая меня... Куда призывают Ангелы — понятно; а куда призывают хозяева магазинов со всякими вкусностями?.. Ещё более понятно!!!

— Нет денег — помахал я ему со своей стороны витринного стекла, разделяющего нас.

— Бла-бла-бла — проговорили губы хозяина — тоже жирные и лоснящиеся, как и его угорь. При этом из-за этого толстого стекла я не услышал ни одного слова, а читать французский по губам я ещё не научился.

Так что, я снова повторил, ясно и чётко артикулируя, чтобы хозяин, побольше моего поживший в Париже, меня понял:

— Денег нет у меня на вашего...

Тут я запнулся. Уж чего-чего, а как называется по-французски угорь, я уж никак не мог знать.

— Денег нет у меня на ваши деликатесы, — проартикулировал я, сложив ладони рупором и впечатавшись в витрину.

Хозяин замахал мне ещё приветливее.

— Он пр-просит тебя отойти и не пачкать витр-рину, — услышал я возле самого своего уха немного сердитый, с хрипотцой, голос.

Ту-то я совершенно очнулся, спустившись с облаков на землю. Я стоял, чувствуя себя полным идиотом. Было часов девять утра. Тот, кто вернул меня

в реальность, стоял рядом, криво ухмыляясь и обнажая при этом белоснежные зубы. Это был молодой парень лет двадцати, как и я, с короткими курчавыми волосами и тёмной кожей мулата.

– Ты русский? – спросил я его, не найдясь больше, что сказать.

– Почему ты так р-решил? – удивился мулат. Ростом он был не выше меня, огромные тёмные очки, размером с две пепельницы, украшали его лицо.

– Ты «р» выговариваешь так по-русски, – объяснил я, и показал, прорычав языком: «р-р-р».

Молодой человек криво ухмыльнулся:

– А ты, наверное, итальянец, – хмыкнул он.

– Нет, я – парижанин, – почему-то на этот раз печально ответил я, – Певец меня зовут. Я песни пою.

– Значит, точно итальянец, – проговорил мой новый приятель на французском языке, вновь со своим русским «р-р-р».

– Ну, а если и так? – поинтересовался я.

– Если так, значит ты мне всё врёшь.

– Почему?..

– Потому что итальянцы не прижимаются носами к витринам с деликатесами.

И тут я решился...

– Хорошо, я скажу правду!.. Уже давно нужно было сказать эту правду и самому себе, и всему миру. Никакой я не парижанин, и никакой не певец. Я – простой неудачник, которому давно пора посмотреть этой самой правде в глаза! Я испортил свой паспорт, написав в нём дурацкое слово, думая, наверное, напиши я это слово в очень важной-преважной бумаге, как тут же всё так и сбудется, как написано...

– И что, не сбилось? – мой соседник, продолжая криво ухмыляться, на секунду приподнял очки, и вновь водрузил их на нос.

– Не сбилось, ничего не сбилось.

– Может быть, не то слово написал? – произнёс он как-то рассеянно, видимо, потеряв ко мне всяческий интерес. Он поднёс к глазам, обутым в очки, руку, завернул рукав и взглянул на часы.

– Ты тоже слепой? – догадался я. – Мы с тобой друзья по близо-дально-зоркости».

– Почему ты так решил? – вновь с безразличием переспросил он.

– Часы так к глазам подносят те, кто плохо видит, – объяснил я.

– Десять, – вместо ответа произнёс мой друг, – без десяти десять. И вдруг неожиданно живым тоном: – Ну, так какое слово ты там сказал... не то, что надо?..

– Не сказал, а написал... В паспорте своём советском написал, что зовут меня Певец.

Парень присвистнул. – В советском?! Ну, это уж ты погорячился! У вас, у советских, такие трюки откалывать – мёртвая петля!

– Я не советский, – проговорил я с убеждённой уверенностью, – если уж забыть про то, что я – парижанин, если забыть про всю мою жизнь, про мои песни, которые я пишу, про голос и всё остальное, то я – русский...

Я умолк, смутился и добавил: – ...Русский... **певец**.

– И где же ты поёшь?

– В том-то и дело, что нигде.

– Слушать не хотят?..

– Что-то вроде этого.

– А куда ты пробовался?

– Мало ещё куда... на Монмартре одна дама меня сегодня ждёт...

– А в „Лагутине“ тебя слушали? – спросил мой друг.

– В „Лагутине“?.. Я даже не знаю, что это такое, – честно признался я.

Мой приятель вдруг оживился. И куда только девалось его безразличие!

– Так вот, – почти деловым тоном заговорил он, – считай, что сегодня тебе крупно повезло, и ты встретил того человека, которого мечтал встретить... Самого важного в твоей парижской карьере человека встретил.

Взяв меня за лацканы, он продолжал, почти дыша мне в лицо:

– Эта улица называется „Дез Орфевр“. Ты пойдёшь по ней до самого конца, затем свернёшь направо, на „Бассано“. Метров пятьдесят по Бассано, и справа ты увидишь то, что тебе надо. Заведение называется „Лагутин“. Не перепутай. Там много ещё всякого дерьма, но тебе нужен именно Лагутин, понимаешь?.. Сейчас без семи десять. Тебе нужно поторопиться. Семи минут как раз хватит на то, чтобы туда добежать. Постучись в дверь. Там есть звонок, но ты не звони, а постучись. Это тебе понятно?..

– Понятно, – произнёс я, почти сражённый так внезапно свалившейся на меня удачей.

– И вот что, друг, – продолжал мой приятель (с горечью в душе я вдруг осознал, что даже не спросил его имени), – тебе нужно научиться говорить **правильные слова**. Понимаешь?..

– А какие правильные? – поинтересовался я.

– Когда тебе откроют в этом Лагутине, скажи только одно слово: «СПАРАЧИНО». И весь мир у тебя в кармане.

...Так я нашёл себе друга. В спешке я двинул по „Дез Орфевр“, вспоминая дальнейший наш разговор. Собственно, разговора-то никакого не произошло. Оказалось, что зовут его Марио, и Марио очень торопил меня. Ещё он спросил, не будет ли переживать та, что на Монмартре, если у меня всё удачно получится с Лагутиным. В том смысле, что не станет ли она мне названивать, требовать, беспокоить... «Не станет, – успокоил я Марио, – у меня нет телефона: ни спутникового, ни портабель». Ещё Марио спросил, где я живу, в том смысле, где найти меня после того, как всё счастливо завершится. Я объяснил, что нигде не живу, потому что выписался два дня назад из гостиницы, и теперь я – официальный бездомный и сплю пока в парках и под мостами... Моя мамочка была бы в шоке, если бы узнала об этом. «А она здесь, в Париже?!!» – испугался почему-то Марио. «Она живёт в России». «Ну и хорошо. Пусть себе там и живёт. Вот тебе мой совет: когда начинаешь самостоятельную жизнь, особенно в другой стране, со всем прошлым лучше сразу порвать. Особенно с мамочками и папочками». Я и сам так думал, но почему-то именно в этот момент от этой мысли мне вдруг стало больно и щемяще-противно. «Всё будет тип-топ», – успокоил меня Марио, похлопав по плечу.

...Улицу „Бассано“ я узнал сразу по бесконечным вывескам: то справа, то слева вырисовывалось: „Cafe Chantant Barsalino“, „Cristal Cabaret“, „Piano-Bar“ ... И вдруг –

„Restaurant Cabaret Russe Lagoutine“

Как Марио и говорил, ресторан был закрыт. На массивной двери была укреплена всё та же надпись:

„TOUT LES SOURS DE 21-h A L'AUBE“

Заведение работало до рассвета. Это значит, что это настоящее, французское заведение, хоть и с русским именем; что там и в самом деле

выступают настоящие артисты, и платят им далеко не гроши. А я согласен на любой гонорар!

В проёме между двустворчатой дверью из лакированного тёмного дерева и огромным окном, в шикарной деревянной раме (такую раму в Москве точно тут же отвинтили бы), под стеклом, висела афиша. Это была старинная афиша годов сороковых, выполненная цветной гуашью. Настоящий антиквариат!

„ЛАГУТИН“ — выведено было вверху по-русски. И далее:

2
GRANDS ORCHESTRES
50
ARTISTES ET MUSICIENS
Authentiquement
Russes et Tziganes!

*Два Гранд-оркестра, пятьдесят артистов и музыкантов, русско-циганская атмосфера.

Дорогой Марио! Спасибо тебе!!! Судьба вновь повернулась ко мне лицом! За массивной дубовой дверью скрывалось самое роскошное заведение, которое мне когда-либо приходилось видеть.

Я подошёл к углу дома и уставился на табличку, тараща полуслепые мои глаза, и изо всех сил пытаюсь разобрать название улицы. Так и есть. «RUE BASSANO» — гласила табличка. Тот самый адрес, который назвал мне мой друг, и — о, Боже!!! Я чуть не подпрыгнул в прозрении: это был так же тот самый адрес, что вычитала мне из старой, пожелтевшей газеты матушка Мари с кладбища „Сан Женевьев Де Буа“!!!

Получается, что Бог давно подталкивал меня к этому месту, а я не хотел его, Бога, слушать!!!

...За широким окном ничего не просматривалось. Всё, что находилось за стеклом, было скрыто от меня. Полная чернота: я не мог даже представить, насколько велико помещение там, внутри.

Я вновь подошёл к двери. Каждую её створку украшало небольшое вытянутое в длину стрельчатое окошко, застеклённое слегка выпуклым, так же, наверное, антикварным стеклом. Ощупав это, похожее на огромную линзу стекло, я загородил свет ладонями, приложил ладони к холодной полупрозрачной поверхности, впечатался лицом в ладони, как в рупор, напряг зрение, и... тут же в ужасе отпрянул: оттуда, из темноты, на меня смотрело белое, опухшее и раздувшееся лицо.

Всё, что я успел увидеть, прежде, чем закричать — была дыра от пули в самом центре лба, у переносицы, и распахнутые мёртвые глаза. Оттуда, из-за стекла, они смотрели пристально, не мигая, и лицо оттого было похоже на выплывшее на поверхность пруда лицо утопленника. Мой крик ужаса потряс, казалось, стекла во всех ближайших домах. Несколько случайных прохожих обернулись на меня, отпрянувшего, споткнувшегося о бордюр тротуара и сидевшего теперь на пятой точке в неглубокой, правда, луже, оставшейся после лёгкого утреннего дождя. (Прав Дюпрэ-Вивьенн, тысячу раз прав!)

Мне так и не удалось постучать, как говорил мой друг Марио: дверь открылась сама — легко, без скрежета — и в её проёме показалось ТО, что так напугало меня. Вернее, ТА. Это была женщина средних лет. Стоя в проёме двери, она держалась очень прямо и гордо, словно была... принцессой, или королевой.

Покрасневший от позора, я поднялся из своей лужи, чтобы получше разглядеть стоявшую в проёме двери. Я подошёл к ней почти вплотную: так я

могу хоть что-то видеть. На плечи женщины был накинут лёгкий халат из полупрозрачного алого шёлка, расшитого крупными бледно-зелёными лепестками лилий. Её и в самом деле бледное лицо обрамляли рыжие локоны волос, бледный лоб украшала диадема. Огромный сверкающий рубин свисал с диадемы на лоб — его, очевидно, я и принял за след от пули. Лицо женщины вовсе не было опухшим, напротив, очень даже приятным. Там, у стрельчатого оконца, я пал жертвой очередного своего оптического обмана: искривленное стекло в стрельчатом оконце исказило лицо женщины, словно линза.

— Спарачино, — произнёс я заветное слово, вдруг сообразив, что не спросил своего друга, что, собственно, оно, слово это, означает.

И не успел я сказать „СПАРАЧИНО“, как произошло чудо: женщина, оттуда, из проёма, поманила меня рукой:

— Идите же сюда, — проговорила она.

Волшебная сказка началась. Я последовал за ней в тёмную утробу ресторана „Лагутин“.

Как только я вошёл, дверь захлопнулась за мной — всё так же бесшумно. Было темно, самой женщины я теперь не видел, зато слышал её голос, раздвоенный эхом...

— Ты пришёл за деньгами, маленький стрелок? — проговорила она. Голос её был хрипл от волнения. Я почти почувствовал, как там, в темноте просторного холла, бешено колотится её сердце. Она и в самом деле была крайне расстроена.

Разлепив сухие губы, я вновь попытался выдавить из себя эту дурацкую, приставшую к моему языку фразу: «Я согласен на любой гонорар, мадам», но женщина не дала мне заговорить.

— За моего сына, маленький стрелок. Я хочу, чтобы ты знал, что я мщу за моего сына! — почти просвистела вздымающейся от волнения грудью она.

Резкая вспышка света ослепила и без того ничего не видящие мои глаза.

— Вы меня с кем-то спутали, — проговорил я как можно спокойнее в этот свет, ощущая при этом, как горячая струйка мочи течёт по моей левой ноге прямо в ботинок, — я не знаю вашего сына... я у нас в Париже вообще никого не знаю, и совсем уж не понимаю, при чём здесь какой-то стрелок и, тем более, месть. И уж кому-кому, а мне мстить глупо: я не успел ещё сделать здесь, в Париже никому ничего такого, чтобы мне мстить... Марио дал мне ваш адрес: улица Бассано, ресторан под названием Лагутин. Марио — мой друг. Он сказал, что...

Я осёкся. Осёкся, и волосы встали у меня на затылке дыбом: я вдруг понял, что во-первых, от волнения обмочился, а во-вторых, не произнёс в этом жутком слепящем мареве ни одного слова из того, что только что говорил. Можете ли вы понять, что я имею в виду?.. Я говорил, говорил, говорил бесконечно — про то, что никого здесь не знаю, про месть, про Париж, про Марио, но ни одного звука не было слышно в пустынном тёмном холле. Только лишь эта слепящая вспышка мне в глаза, а после — резкий звук и удар, словно кто-то взорвал у меня над ухом праздничную шутиху; потом же — так, смеха ради — треснул ладонью меня по лбу. Всё, что я успел ощутить — это резкая боль в затылке и тишина.

Меня перестали слепить светом. Только где-то в отдалении, тихо, — тихо, потому что, наверное, я был оглушён, звучал голос Эдит Пиаф. Или мне это лишь только казалось?..

Потом я — нет — не почувствовал, а, скорее, услышал, как опускаюсь, вернее, падаю на колени...

Но за секунду до этого я протянул в полной темноте руки к своему затылку, и пальцы мои окунулись не в привычную копну волос, а во что-то

скользкое, липкое на ощупь, горячее и мокрое. Я страшно испугался. Нет, испугался — это не то слово, которое можно подобрать в этом случае... меня охватила паника. Вот тогда-то ноги мои и подкосились. Ощущение было, что я проваливаюсь куда-то. ...Может быть, я провалился в свой очередной сон?..

И в тот момент, когда я уже поверил было в то, что вижу сон, случилось невероятное! Вначале перед моими глазами самыми яркими красками, какие только есть в мире, вновь засиял свет (но это был уже другой свет — не ослепляющий, а освещающий всё вокруг); а потом я увидел и ту самую даму с рубином на лбу; но что самое невероятное — увидел я её непривычно ясно, резко, как никогда до той поры никого и ничего не видел, ни во снах, ни, тем более, наяву — с моим-то зрением!

Стоя на коленях в своём сне, я, словно зачарованный, смотрел, как она роняет на пол что-то тяжёлое и чёрное... И теперь — господи, спасибо! — я отчётливо видел сам предмет! После стольких лет моей слепоты я, наконец-то обрёл зрение! Судьба вновь повернулась ко мне лицом!!!

Я разглядел этот предмет до мельчайших подробностей: „Вальтер“ — выгравировано было на чёрном стальном корпусе. Это был обычный пистолет Вальтер, и жерло его ствола испускало слабый фиолетовый дымок (можете вы сослепу различить такие подробности???)... Я увидел чёрный язычок предохранителя и красную отметку, говорящую о том, что предохранитель тот больше не предохраняет пистолет от выстрела... Я увидел пол, на котором лежал этот Вальтер — белый, мраморный пол, сверкающий под зажжёнными вдруг надо мной хрустальными люстрами...

Пистолет лежал на этом полу, как мёртвая ворона на бело-белом снегу, но откуда-то снизу к нему вновь подступала чернота. Чернота эта словно шла от меня. Ради Бога, не надо! Только не чернота, — возопил я, — пусть только вновь не чернота!!! Но чернота растекалась — медленно, словно пролившееся на пол чёрное молоко...

И вот белый пол, сверкающий под тем самым Вальтером, который ясен и виден был мне до мельчайшей детали, почернел, освещённый горящими под низким деревянным резным потолком люстрами, а потом как-то странно повернулся, превратившись в стену. В мраморную стену. Люстры теперь горели слева от меня, словно огромные хрустальные бра. С вернувшимся ко мне зрением, я мог наслаждаться их сиянием и красотой сколько угодно!!!

...Пол, ставший стеной, почернел не весь. Скользкая, как мне показалось в тот момент, лужа распространялась по нему; но там, дальше, всё сверкало и сверкало белый девственный мрамор. А ещё дальше я увидел лестницу. Лестница так же была опрокинута набок, и по этой опрокинутой лестнице сбегал молодой человек. Он был бледен, как и его белая рубашка, распахнутая на груди... Я отчётливо видел каждую пуговицу, даже выражение лица этого молодого человека видел я ясно, как никогда прежде.

Молодой человек приблизился к моим обретшим зрение глазам, затем лицо его ещё более побелело, а с пересохших губ слетело непонятное:

— Ты сошла с ума, — зашептали его губы, — ты сумасшедшая, я знал, что ты сумасшедшая!

Я перевёл взгляд на женщину, к которой обращался молодой человек; а обращался он к той самой, которая... я потерял мысль...

— Иначе было никак нельзя, — проговорила она, — мне было **позволено** это сделать...

— Это не тот, — послышалось в ответ, — ты застрелила не того!!!

«Вот. Ты так и не смог удовлетворить женщину в расстроенных чувствах» — услышал я откуда-то голос Мари Дюпрэ-Вивьенн.

В перевёрнутой картинке, которая стояла теперь перед моим взором,

женщина тем временем медленно опускалась на колени, на сверкающий мрамор. Лицо её выражало отчаяние и бессилие; цветной подол её шёлкового халата лег на сияющую поверхность, и чёрная лужа, в которой совсем утонул чёрный Вальгер, подбиралась теперь к подолу — медленно, медленно подбиралась, с каким-то шипящим, пенящимся звуком.

Я закрыл глаза. Как ни приятно и радостно было видеть всё так резко и ярко, я всё равно закрыл глаза: я не мог вынести отчаяния этой женщины.

С закрытыми глазами я мог только слышать...

«Ты не мужчина, — горестно проговорила вновь откуда-то взявшаяся Дюпрэ-Вивьенн, — ты обыкновенная тряпка!»

«Тише, тише, тише...» — зашептал другой женский голос над моим ухом, — нужно всё обдумать...»

Говоря это, женщина начала заикаться. Слова с трудом вырывались из её горла, словно оно было сжато чьими-то ладонями. Затем раздался лёгкий плеск и кашель. Откашлявшись, женщина продолжала: «Мне дано было разрешение... сам мосье Лем...» Она словно подавилась этими словами, и вновь послышался плеск.

«Мы всё здесь уберём, мы спрячем труп... Всё равно нужно было его прятать... Я всё продумала... Сегодня же ночью...»

«Ресторан» — прошептал молодой человек.

«Ресторан будет работать, как обычно... Мы дождёмся ночи, и...»

«Чёрт возьми, сколько крови!»

...Теперь меня несут куда-то. И мне приятно. Мне приятно, что меня уносят из этого непонятного мне видения. И ещё... мне хорошо, понимаете?! Я так устал за все эти месяцы! Я так хочу, чтобы меня отнесли в мягкую кровать, как делала мама в детстве, уложили на мягкую перину и спели колыбельную... Я смертельно устал, вы можете это понять? — кричу я этим людям.

«Сюда, сюда», — слышу я в ответ.

«Следы! Не тяни же его так! Всё продумала!..», — долетает до меня, — «Ты — идиотка, ты просто ненормальная идиотка! Стой! Я принесу пакет...»

«Пакет будет мал!»

«Плащ?.. Тот, что...»

«Хорошо, пусть плащ.. Никто не станет спрашивать, куда делся этот плащ?..»

«Его забыли у нас ещё в прошлом месяце... Никто о нём теперь не вспомнит!»

Мягко. Очень просторно и мягко на этой перине. И я не открою больше глаз. Пока не выплыву... Пока не приду в себя. Пока ко мне не вернётся голос... Господи! Я так устал, — почти рыдаю я, и они не слышат моего рыдания. Или не хотят слышать. Им не до меня.

«Сюда, сюда, скорее, опять кровь!»

«Я принесу ведро и тряпки!»

«Постой! Не оставляй меня тут одну... с ним...»

«Продумала! Ты идиотка!»

Они просто не могут ничего другого говорить друг другу, как только обзывать идиотами.

Теперь я сплю. Всё. Теперь я сплю. Оставьте меня в покое. И не надо никаких колыбельных. Лишь голос Эдит Пиаф сменился теперь моим собственным голосом: мои песни звучат где-то в отдалении. Они поставили мою французскую запись. Но у меня нет никаких записей на французском...

...Сквозь свой голос во сне, я слышу другой голос — тихий голос мужчины. Совсем как будто рядом:

«Не пришёл?!»

«Это очень странно, что не пришёл».

Тот, вернее, та, кто отвечает, знакома мне по сипловатому голосу: это мадам Дамья. И говорит она обо мне.

Простите, мадам Дамья, дайте мне немного выспаться, я так устал! Я знаю, что мы договаривались на сегодня... Но, ведь, ещё только утро! К вечеру я буду у вас! Я спою вам все свои песни, все до единой, только найдите для меня время! Не нужно делать так, чтобы я стремглав бежал к вашему роялю, пытаюсь завоевать его; „отбить“, словно высоту у врага... Пусть всё будет спокойно. Мне так нехватает этого покоя, боже мой!!! А когда всё наладится, и вы поможете мне подзаработать немного денег, клянусь, я позвоню своей маме...

С одной стороны, мне нелегко дастся этот звонок — столько месяцев она не слышала от меня ни одной вестки! Но с другой стороны, ей так радостно будет узнать, что её сын...

...Маленькие квартирки под самой крышей где-нибудь на окраине Парижа стоят не так уж дорого. Особенно те, что в чёрных и латинских кварталах... Разумеется, я и не рассчитывал на вид Эйфелевой Башни из окна... вы только дайте мне возможность, а потом посмотрим... Дайте мне возможность петь и зарабатывать за своё пение деньги. Чтобы мне не стыдно было звонить моей маме. Чтобы я мог честно и спокойно говорить: «Всё в порядке, ма! Может так случиться, что я приеду к Рождеству...»

Под мостом „Понт Нёфф“

...В полутёмном коридоре светом из тени и тенью из света щетинятся лампы, подвешенные под потолком. Я — в самом начале прохода. Я вижу, как коридор этот удаляется, уменьшаясь, согласно перспективе зрения... Я вижу, как они несут меня. Они закутали меня в чёрный-пречёрный плащ, и несут туда, по коридору, в комнаты, где можно спокойно отоспаться после всех этих тревожных, сумасшедших ночей.

Я уже сплю. Я слишком устал, чтобы открывать глаза, но я всё равно вижу, как они несут меня — бережно и тихо ступая, чтобы не разбудить.

Ещё я слышу приглушённые голоса...

«Главное — затащить тело в багажник»

«Он совсем окоченел, не поместится»

«Может быть, позвонить твоему Леметру?»

«Ален, прошу! Ни слова о нём! Ты понял меня?..»

И вдруг:

«Стой! Он сказал.. он говорил.. он предупредил меня!!! Он знал!!! Он предупреждал» — голос звучит жарко, почти над самым моим ухом, и в то же время, как бы издали — сказывается, наверное, акустика этого длинного, бесконечного коридора...

«Что, что?!»

«Он сказал: Но имейте в виду, мадам Ривгош, что трупы в Сене всплывают!»

Воздух. Меня овеивает прохладная струя воздуха. В этом потоке не так

ощущается страх, исходящий от этих обоих. От них веет Страхом и Ужасом... Почему?..

«Подожди, я раскрою багажник, потом мы сядем в салон и всё спокойно обдумаем!»

«Странно... я считал, что трупы коченеют... Посмотри, теперь он стал мягкий, как вата...»

«Осторожно, кровь... Чёрт возьми! Эта кровь! Здесь всё тоже нужно будет протирать!»

«А о чём ты думала, когда снесла ему затылок?..»

«Пойми, мой мальчик, нужно было, чтобы всё свершилось наверняка, с первого выстрела...»

«Ты — сумасшедшая! Как ты только можешь говорить это?! Ты прикончила человека!!! Плюс ко всему, ещё и не того! Понимаешь ли ты?! Доходит ли до тебя, что ты убила невинного человека, который неизвестно зачем забрёл к нам в это утро!»

«Неправда! Ален! Всё было неспроста... Он сказал, что его зовут Спарачино!!!»

«Приди в себя! Он не мог такого сказать! Просто ты уже сходишь с ума! Ты всегда пророчила, что сойду с ума я, а сама всё это время была сумасшедшей!!!..»

«Я в своём уме!!!» — теперь это уже не голос, а пронзительный визг: — «Он сказал, что его зовут Спарачино!!! Леметр обещал... Я всё сделала правильно, как он...»

Под этот визг я проваливаюсь в своём сне во что-то глубокое и мягкое... Только лишь слово „спарачино“ пульсирует у меня в голове, улетаая в пространство и затихая... „спарачино“ „спарачино“... это я сказал „спарачино“ ...

«Ногу, ногу подверни... самое главное, чтобы вновь не потекла эта чёртова кровь!»

«Понт Нёф, мы спрячем его под Понт Нёф! Не в воду, а под мостом!»

«В каком смысле спрячем?»

«Бросим, боже ты мой! Просто бросим! Никто никогда не найдёт никаких следов! Пуля прошла навывлет. Сколько ни ковыряйся в его мозгах, ничего теперь не докажешь... И документы его мне нравятся... всё перечёркнуто, и слово это... „CHANTEUR“ ... Никто ничего не разберет, понимаешь? Знаешь, сколько таких вот... под мостами...»

«Он русский, идиотка!!!»

«Тем более... тем более... и, вообще, какая разница, кого найдут под мостом, русского, или нигера, или...»

«Хорошо... Понт Нёф... К тому же там бесконечный ремонт. Темно. В такой час — никого».

«Бедный мальчик».

«Успокойся... он даже не понял, что с ним произошло!»

«Я не об этом, Ален, я о тебе... Бедный ты мой мальчик! Сколько тебе пришлось вынести!»

«Пока что я ношу с тобой трупы. Не вмешайся ты в это дело...»

Крышка багажника с оглушительным треском захлопывается, но этот звук перебивает другой... вновь моё пение... Милая мадам Дамья! Вы и в самом деле сделали запись?.. Это же мой голос!

«Теперь давай всё спокойно обдумаем, Ален...»

Если вы записали мой голос на магнитофон, значит, не так-то уж я вам и

не понравился! Я сделаю всё, что вы мне скажете, мадам Дамья! Если будет надо, я...

«Что „ну как?“ ..»

«Где он? Ты только скажи, где он? Что ты говорила ему? Почему он не пришёл?.. Или, это всё розыгрыш? Чтобы набить цену?.. Я заплачу сколько тебе нужно будет... втрое больше, только он необходим мне, понимаешь?»

«Он придёт, Леметр, обещаю тебе. Такие парни не пропадают вникуда, они грызут землю зубами ради своей цели. Он придёт, и ты заключишь с ним свой контракт».

Ну вот, я знал, что всё будет хорошо! Ну зачем вы сразу не сказали?! Или, это не про меня?.. Тогда зачем звучит мой голос?.. Я же знаю, что пел эту песню у вас. Не помня себя от волнения, почти ничего не видя, но пел... Контракт... волшебное слово. Если у меня будет контракт, я смогу ездить по всему миру. Если у меня будет контракт, я больше не буду прятаться под мостами от полиции, я больше не буду жить вне закона. Я всегда верил в то, что меня оценят. Я непременно зайду к Ленину в кепке; я расскажу ему, как мне теперь живётся здесь, в Париже... И к Нине Ли... Я подарю ей цветы и свою кассету. Кассету со своими песнями. Мадам Дамья, может быть, мы запишем несколько русских романсов?.. Для Нины Ли... Я совсем не прочь петь по-русски. Если будет контракт.

Мосье Леметр, она сказала?.. Я здесь, мосье Леметр! Я ещё не совсем в форме, но уже готов петь.

СКОРО буду готов...

Я открываю глаза, и пугаюсь, потому что вначале не вижу ничего. Затем — о, чудо! Ночной Париж!!! Струйка огней вдоль Набережной... Нотр Дамм... А вот — этот светящийся бледно-зелёным, словно подсвеченная плывущими корабликами, вода Сены, супермаркет, где я покупаю обычно дешёвое вино в пластиковых бутылках... Как странно... Я вижу это всё, словно с Эйфелевой Башни, с третьей её платформы!!! Но я никогда не поднимался туда... С моим зрением там нечего было делать. И, потом, опасно — несмотря на то, что там повсюду натянуты сетки, я всё равно боюсь высоты. Вот только сейчас не боюсь, потому что сейчас — другое дело... с контрактом, который почти у тебя в кармане, и с Парижем, который виден, как на ладони...

«Подожди... я спущусь вниз и посмотрю, нет ли там кого...»

«Нет, Ален, ты останешься в машине...»

«Ты бы хоть глаза ему закрыла...»

«Стой, не прикасайся ни к чему... Документы его в кармане?»

«В чьём?»

«Ален, не нервируй меня... Когда фрики* (*Пренебрежительное название полицейских.) найдут тело, для них должно быть тут же ясно, что это бомж, ничего не представляющее из себя существо».

Я выплываю из темноты. И врываюсь в темную парижскую ночь.

«Ты обзвонишь все заведения, куда он мог наведаться...» (Голос мосье Леметра, который стал для меня почти родным).

Я здесь, мосье Леметр, они несут меня по этому склону... Кто «они»?.. Какая разница... Я в Париже, и это самое главное. Универсам „Самаритэн“ ...

Теперь они уходят. Перед тем, как уйти, тот, кого мадам называла Ален, наклоняется надо мной, пристально всматриваясь мне в лицо...

«Ты обзвонишь все полицейские участки, все клиники... Я хочу получить то, что я хочу, сейчас, а не завтра, не послезавтра! Не тогда, когда этому сукиному сыну вздумается наведаться в твой театр! Понятно я выражаюсь?»

...Он всматривается мне в лицо, и я вижу, но не его глаза... я вижу его, склонённого надо мной в этой темноте под мостом.

Справа, сквозь какие-то покорёженные строительные балки и сваи, просвечивает вывеска универсама „Самаритэн“. Значит мы под мостом Понт Нёф. Я уже достаточно хорошо знаю этот город, чтобы ошибиться. Я здесь, мосье Леметр, под мостом Понт Нёф. Я смертельно устал, но это самое лучшее сейчас для меня — провести ночь здесь. Вы же знаете, полиция сюда никогда не заглядывает, только если утром, к шести... А с утра у меня уже будет много планов... Ресторан «Лагутин», с этой дамой с рубином во лбу. Три симфонических оркестра, шикарные шоу... Русский ресторан... Не может быть, чтобы там не нашлось мне работы.

«Ты облажался со своим «Лагутиным». (Голос Мари Дюпрэ-Вивьенн?..) Посмотрим, Маруся, посмотрим, что будет, когда я спою этой прекрасной даме пару своих песен... Пару романсов, наконец... Для того, чтобы выгодно себя продать, можно спеть и романсы, хотя, это не мой конёк... я всё же chanteur... я парижанин... Марио, слышишь?.. я пою свои собственные песни по-французски!

...Он всматривается мне в лицо, и... уходит. Правильно. Оставьте меня одного. Мне хорошо. Мне совсем не холодно. Мне вообще никак. Наверное, это и называется словом „хорошо“. А, может быть, даже, словом „счастье“. В любом случае, мне хорошо. Я сижу, прислонившись к холодной стене под самым скатом моста, и не чувствую её холода. Стена мокрая: мне слышно, как по ней течёт и капает вода; и ещё я чувствую, как каменный скат у меня над головой слегка подрагивает, вибрирует под колёсами авто, которые проезжают там, наверху...

Если мне никто не помешает, я смогу проспать здесь до самого утра... А утром, Мадам Дамья, в первую очередь я наведуюсь к вам, раз уж вы так меня ищете.

Постой, а кто сказал, что они меня ищут, и кто такой мосье Леметр?..

Но ты же ясно слышал их разговор...

А это всё... про контракт — было сном, или реальностью? Я так часто теперь проваливаюсь в эти дурацкие сны... И сны эти почти никогда теперь не сбываются.

Если я и в самом деле сейчас под мостом Понт Нёф, самое главное — немного поспать...

И я закрываю глаза. Я закрываю глаза, но всё равно не могу не видеть. За столько лет почти полной слепоты!

Два страстных желания сталкиваются во мне: видеть Париж и уснуть мёртвым сном. Я сплю и вижу одновременно. Я вижу светящуюся надпись „Самаритэн“, и авто, мчащиеся по той стороне набережной, и многочисленные пароходики, проплывающие по Сене. С пароходиков машут руками. В тот момент, когда они машут, я, притаившийся здесь, под скатом моста, освещаюсь на мгновение светом прожектора, а за тем вновь погружаюсь во тьму.

Я вновь открыл глаза. Я решил. Я не хочу тратить эту ночь на сон.

По крутому откосу от Нотр Дамм сюда, к мосту, спускается парочка влюблённых, и я вжимаюсь в холодную и мокрую стену, потому что я не хочу,

чтобы меня обнаружили. Я не хочу отвлекать их друг от друга. Мне, сидящему здесь, в темноте под мостом, не хочется пугать их.

– Посмотри, там кто-то прячется, – говорит девушка.

– Никого... кажется, просто мешок с цементом, – отвечает ей парень. Он пытается обнять её, она же вырывается, бежит в самую темень, где прячусь я.

Я вижу, как девушка склоняется надо мной и слышу её слова:

– Жан, подойди сюда... Кажется, он...

Затем я слышу шаги. Я не дышу. Я затаил дыхание. Я боюсь, что меня обнаружили.

– Мёртвый. Он мёртвый, – слышу я голос Жана.

Про кого они говорят?.. кто здесь мёртвый... не очень бы хотелось провести ночь рядом с трупом!

...И тогда я вижу, как девушка подходит ко мне, протягивает руку к моему лицу, к глазам, смотрящим на неё со страхом, и вместе с тем, с радостью, и... опускает мои веки.

Она опускает мои веки, но я всё равно вижу эту парочку!!! – бьётся в моей душе паническая мысль, – Я их вижу, а это означает, что это не я мёртвый!!!

– Упокой, Господи, душу его, – произносит девушка.

И как только произносит она слова эти, всё погружается во тьму: нет больше ни потока авто на той стороне набережной; нет светящейся вывески супермаркета „Самаритэн“, нет ни девушки, ни парня, ни Сены, ни мокрой стены моста Понт Нёф, в которую я вжался спиной... Нет и звуков, этих волшебных звуков ночного Парижа, которые я так люблю, и буду любить всю жизнь. Нет больше ничего... и пения моего нет. Только слова – там, в темной-тёмной далёкой дали: „Господи, упокой душу его...“ Мамочка, мне страшно. Дай мне руку. Если ты не дашь мне сейчас руку, я провалюсь... Я чувствую это, я провалюсь в черноту... Чёрт возьми, ну дай же мне руку!!!!!! Мама! Embrasse moi... Обними меня!

– ЭПИЛОГ –

...В тот момент, когда ко мне внезапно, таким волшебным образом вернулось зрение, перед самым погружением в черноту и падением в бездну, я многое понял... Мне хотелось бы рассказать вам о том, что я увидел, но теперь я не могу – теперь у меня просто нет на это времени. Потому что мне пора; потому что я был неправ; потому что всё могло быть иначе, потому... Потому что, наконец, изнутри Париж зелёный, а сверху похож на расплавленную лаву; потому что ночью светятся здесь не огни, а камни; а болотно-бледные парапеты Сены, пропитанные абсентом и мочой, похожи на стены клозетов, уводящих лабиринтами в плеск и журчание воды – туда, где простенки становятся всё уже, превращаясь в клоаку, а клочок неба над головою чернеет и светится без единой звезды, впитывая в себя люминесцентный свет, словно губка – разлитое по белому мрамору чёрное молоко...

Потому что потомки Мавров, разносящие в утренних кафе пластиковые подносы с «перье» и круассанами, не прощают слова „гарсон“, брошенного небрежно и вникуда. Потому что ночью эти гарсоны совсем другие: по ночам они бродят по каменным лабиринтам – их глаза скрыты под чёрными очками, карманы набиты джойнтом, а за голенищами их казакинов из

крокодиловой кожи спрятан чёрный, полированный до блеска „Вальтер“. Они долбят растрёпанные боксёрские груши в подвалах дешёвых спортзалов, трахают девок в подворотнях, и не считают при этом зазорным получить от жирного денежного мешка десяток-другой франков за хороший минет.

Далеко за полночь потомки Мавров возвращаются в свои пещеры, где стены оклеены плакатами Жана Рено и Марка Дакаскоса, встают под ледяной душой и выходят оттуда чистыми и невинными, словно младенцы.

К десяти же часам утра в их руках вновь пластиковые подносы, а глаза скрыты под чёрными солнцезащитными очками. И они получают от вас чаевые, терпя небрежно брошенное «эй, гарсон!» только для того, чтобы к ночи вновь затеряться в каменных лабиринтах этого города, который зовётся Париж. Всем, встречающимся им на пути — случайным, нелепым и враждебным — они говорят, что зовут их Марио. Так принято. Потому что они осторожны. И ещё, они никогда не прощают обид и унижения.

Всё это я упустил. Прошёл мимо. Не заметил. Почему?.. Потому что.

Потому что такие, как я, вечно ищут не там, где надо, и никогда не находят; такие, как я, сгорают от любви, никого ещё не успев полюбить, и страдают там, где не надо страдать. Ещё они недостаточно предприимчивы, чтобы заработать хотя бы десять франков в день, никогда не научатся закрывать водопроводный кран, когда чистят зубы, а тем более, сидеть на скамейках и бордюрах тротуаров так, чтобы не оставлять на джинсах тёмные пятна машинного масла или следы свеженанесённой краски — краски, которая пачкает потом стиральную машину тех, кто приютил всё это сборище нелепостей и недостатков под крышей своего уютного мешанского гнёздышка.

Но теперь больше нет времени. Всё. Мне нравилась Маруся Дюпрэ-Вивьенн, понятно вам?.. Мне только не нравилось, как ты смотрела на меня — жадно и похотливо, как обнимала, твердя мне на ухо, что ты — женщина, находящаяся в смятённых чувствах. Мне не нравилось это ТОГДА, понимаешь?! Возможно, мне просто нужно было время — время на то, чтобы освоиться в этой прекрасной стране; смириться с её необычной жизнью, понять, что за красивую игрушку под названием «Этот Безумный, Безумный Мир» мне дали подержать в руках. Мне просто нужно было немного собраться с мыслями, понимаешь ли ты, Маруся Дюпрэ-Вивьенн?! Но ты не дала мне этого времени.

..Вначале я сказал, что мы познакомились в Москве, и что это неважно... Как раз таки нет! Это, возможно, было самое важное из того, что я не рассказал. Ты была такая тихая, там, в моей тесной комнатёнке, когда сидела на низком диване, слушая мои песни... Ты не решалась сказать ни слова. А потом, уже здесь, в Париже, ты спросила меня, почему у меня такой странный, устремлённый в пространство взгляд. И я соврал тебе, сказав, что я наркоман. Это, наверное, и было моей главной несправедливостью по отношению к тебе. Моя малодушная ложь.

Что ещё?..

Ах, да! Мосье Леметр сдержал своё обещание. Нет, он не подписал со мной контракта. Но он выкупил для своей коллекции за пятьсот тысяч франков у мадам Дамья мою запись, сделанную в «Royale d'Or». Пятьсот тысяч — немалая сумма, согласитесь?..

Но это всё их дела... Для меня же он сделал..

Если вы когда-нибудь окажетесь в Париже, поезжайте в предместье Сан Женевьев де Буа и разыщите там русское кладбище. Его очень трудно найти — знаю по себе. В притворе, у самых ворот, вы найдёте маленькую часовенку, где до сих пор обитают матушка Маман и её дочь Мари. Скажите им только

одно слово, и они поведут вас вначале по главной аллее, потом вы свернёте в сектор номер шесть, где всё почти уже заросло липами и диким каштаном, а осенью золотится небо на закате...

Там, почти в самом конце аллеи, вы и найдёте этот крест. На поперечной планке его написано всего одно слово. Всего одно слово, но оно очень, очень важно для меня. Важнее, чем сто тысяч слов — пустых и никому не нужных. И слово это написано по-русски. Как странно! Этого я уж никак не мог ожидать от мосье Леметра — именно по-русски, русскими буквами, кириллицей...

Ах, да! Что вам нужно сказать Мари, или её матушке?.. Всё то же слово:
«ПЕВЕЦ».

...И больше ничего.

**Сообщение полицейской хроники
на первой полосе старой,
найденной где-то в чулане „PARI-SOUR“:**

...Ночь с **пятницы тринадцатого** на субботу четырнадцатого сентября оказалась всё же фатальной. В известном в Париже ресторане „Лагутин“ прозвучало несколько выстрелов: убиты хозяйка ресторана **Сесилль Ривгош (42)** и её сын **Ален (17)**. Полиция пока ещё не вышла на следы совершивших преступление.

Следствие продолжается.

КОНЕЦ

Все сюжеты и персонажи, описанные в этой повести, вымышлены. Какие бы то ни было совпадения случайны.

Text copyright by Yuri Balabanov 2003. ©Yuri Balabanov